

**Ф**ИЛОСОФСКОЕ **Н**АСЛЕДИЕ

ТОМ 88



# Жюльен Офре ЛАМЕТРИ

**СОЧИНЕНИЯ**

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
< МЫСЛЬ >  
МОСКВА - 1983**

РЕДАКЦИИ  
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редколлегия серии:

акад. *М. Б. МИТИН* (председатель), д-р филос. наук, *В. В. СОКОЛОВ* (зам. председателя), д-р филос. наук, *Н. А. КОРМИН* (ученый секретарь), канд. филос. наук, *В. В. БОГАТОВ*, д-р филос. наук, *А. С. БОГОМОЛОВ*, д-р филос. наук, *А. И. ВОЛОДИН*, д-р филос. наук, *А. В. ГУЛЫГА*, д-р филос. наук, *Д. А. КЕРИМОВ*, чл.-корр. АН СССР, *Г. Г. МАЙОРОВ*, канд. филос. наук, *Ф. Н. МОМДЖЯН*, д-р филос. наук, *И. С. НАРСКИЙ*, д-р филос. наук, *В. С. НЕРСЕСЯНЦ*, д-р юрид. наук, *М. Ф. ОВСЯННИКОВ*, д-р филос. наук, *Т. И. ОЙЗЕРМАН*, академик, *В. Ф. ПУСТАРНАКОВ*, д-р филос. наук, *И. Д. РОЖАНСКИЙ*, д-р филос. наук, *М. Т. СТЕПАНИЯНЦ*, д-р филос. наук, *А. Л. СУББОТИН*, д-р филос. наук, *М. М. ХАЙРУЛЛАЕВ*, чл.-корр. АН Уз. ССР, *И. Я. ЩИПАНОВ*, д-р филос. наук

Общая редакция,  
предисловие и примечания  
*В. М. БОГУСЛАВСКОГО*

Перевод с французского  
*Э. А. ГРОССМАН* и *В. ЛЕВИЦКОГО*

## ЧЕЛОВЕК - МАШИНА

Так вот он — луч, что с неба к нам идет,  
Перед чьим сиянием толпа благоговеет!  
Так вот тот дух, что нас переживет!  
Он вместе с чувствами рожден,  
растет, слабеет...  
Увы, он с ними и умрет.

*Вольтер*

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Быть может, будут удивляться тому, что я осмелился поставить свое имя на столь дерзкой книге, как эта. Я бы, конечно, не сделал этого, если бы не думал, что религия достаточно защищена от всяких попыток ее ниспровержения, и не был бы убежден, что какой-нибудь другой издатель не сделает с большой готовностью то, от чего я отказался бы по убеждению. Я сознаю, что благоразумие требует не подавать повода к соблазну слабых умов. Но, даже предполагая их таковыми, я при первом же чтении этой книги убедился, что нечего бояться за них. В самом деле, к чему проявлять такое рвение и поспешность в замалчивании аргументов, противоречащих идеям божества и религии? Ведь это может вселить в сознание народа мысль, что его обманывают. А стоит ему начать сомневаться, прощай доверие, а следовательно, и религия! Можно ли надеяться найти средство смутить когда-нибудь безбожников, если их как будто боишься? Можно ли вернуть их снова к вере, если, запрещая им пользоваться собственным разумом, ограничиваются нападками на их нравственность, не справляясь, заслуживает ли она такого же осуждения, как их образ мыслей?

Подобное поведение приносит пользу только делу неверующих; они насмеются над религией, примирения которой с философией не допускает наше невежество; они торжествуют победу в своих окопах, которые наш способ борьбы заставляет считать неприступными. Если религия не выходит победительницей из этой борьбы, то только по вине ее неумелых защитников. Пусть люди благомыслящие возьмутся за перо и покажут, что они хорошо вооружены; тогда теология в жарком споре одержит верх над столь

слабым соперником. Я мог бы сравнить атеистов с гигантами, захотевшими взять приступом небеса: они неизбежно испытают участь этих гигантов.

Вот что я считал необходимым предпослать этой небольшой работе, чтобы предупредить всякие недоразумения. Не мне надлежит опровергать то, что я печатаю, ни даже высказывать свое мнение по поводу рассуждений, изложенных в этом произведении. Знатоки легко увидят, что трудности всякий раз встречаются только там, где возникает попытка объяснить союз души и тела. И если делаемые автором выводы опасны, то надо помнить, что в их основании лежит только гипотеза. Разве требуется что либо большее, чтобы их опровергнуть? Но пусть мне позволено будет предположить то, во что я не верю: если бы даже эти выводы было трудно опровергнуть, их опровержение представляло бы только лишний повод к тому, чтобы блеснуть умом. Побеждая, не подвергаясь опасности, торжествуешь, не приобретая славы.

Автор, которого я совсем не знаю, прислал мне свою работу из Берлина, прося меня только отослать шесть экземпляров ее по адресу маркиза д'Аржанса<sup>1</sup>. Конечно, нельзя было лучше сохранить свое инкогнито, ибо я убежден, что самый этот адрес является насмешкой.

*ГОСПОДИНУ ГАЛЛЕРУ,  
ПРОФЕССОРУ МЕДИЦИНЫ В ГЕТТИНГЕНЕ<sup>2</sup>*

Это вовсе не посвящение. Вы гораздо выше всяких похвал, которые я мог бы по вашему адресу расточать. За исключением разве академических речей, что может быть более безвкусно и бесполезно, чем похвала? Но это и не изложение нового метода, при помощи которого я снова хотел бы подойти к старой и избитой теме. Вы не откажетесь признать за мной хотя бы эту заслугу и вообще будете судьей, насколько ваш ученик и друг хорошо выполнил свою задачу. О наслаждении, испытанном мною при составлении этой работы, намерен я здесь говорить. Я обращаюсь к вам не с книгой, а с открытой душой, чтобы вы уяснили мне природу этого возвышенного наслаждения познанием. Это является предметом моего обращения. Я не стану уподобляться писателям, которые, не находя в себе ничего, что могло бы заполнить бесплодность собственного воображения, обращаются к тексту, в котором воображения и вовсе никогда не было. Скажите же мне, дитя Аполлона, знаменитый швейцарец и современный Фракасторо<sup>3</sup>, вы, постигающий одновременно все, умеющий измерять природу и, что еще важнее, чувствовать ее и даже изображать, ученый врач и еще более великий поэт, скажите мне: какими чарами познание превращает часы в мгновения; какова природа этих наслаждений ума, столь отличных от пошлых наслаждений? Чтение ваших очаровательных поэтических произведений так потрясло меня, что я не могу не попытаться сказать, чем вдохновили они меня. Человек, представший мне в этом свете, не может быть чужд моей теме.

Сладострастие, как бы приятно и дорого оно нам ни было, какие бы похвалы ни расточало ему столь же признательное, по-видимому, сколь и нежное, перо молодого французского врача, знает одну только форму наслаждения, являющуюся для него могилой. Если полное наслаждение не убивает его безвозвратно, то все же требуется известное время для его воскрешения. Насколько отличны от него источники умственных наслаждений! По мере приближения к истине находишь ее все более прекрасной. Здесь наслаждение не только увеличивает желания, но уже

самое стремление к наслаждению вызывает наслаждение. Последствия наслаждения продолжаются долгое время, хотя само по себе оно быстрее молнии. Следует ли удивляться тому, что умственные наслаждения настолько же превосходят чувственные, насколько дух выше тела? Ведь дух является первым из всех чувств и как бы местом встречи всех ощущений. Не ведут ли они, подобно лучам, все к центру, от которого берут начало? Поэтому не будем спрашивать себя, каким непреодолимым очарованием воспламененное любовью к истине сердце вдруг переносится, так сказать, в лучший мир, где испытываются наслаждения, достойные богов. Из всех привлекательных даров природы для меня по крайней мере, как и для вас, дорогой Галлер, самым привлекательным является философия. Какая слава может быть прекраснее, чем шествие в ее храм под руководством разума и мудрости? Какая победа более достойна, чем власть над всеми умами?

Рассмотрим все объекты наслаждений, неведомых душам пошляков. Сколько в них красоты и широты! Время, пространство, бесконечность, земля, море, небосвод, все стихии, все науки и искусства — все охватывается этого рода наслаждениями. Втиснутая в пределы мира, философия при помощи воображения создает миллионы миров. Природа в целом — ее пища, воображение — ее торжество. Остановимся на этом подробнее.

Поэзия или живопись, музыка или архитектура, пение, танцы — все это доставляет знатокам упоительные наслаждения. Посмотрите на Дельбар (жену Пирона) в оперной ложе: попеременно, то бледнея, то краснея, она отбивает такт вместе с Ребелем, волнуется вместе с Ифигенией, впадает в ярость вместе с Роландом<sup>4</sup>. Все звуки оркестра отражаются на ее лице, как на полотне. Ее глаза обволакиваются мягкостью и кротостью, смеются или наполняются воинственным пылом. Ее можно принять за безумную, но она не безумна, если только нет безумия в переживании наслаждения. Она пронизана красотой, ускользающей от меня.

Вольтер не мог не плакать, видя свою Меропу<sup>5</sup>: так высоко ценил он свой труд и труд актрисы! Вы читали его произведения; к несчастью для него, он уже не в состоянии читать ваши. Кто не читал, кто не помнит их?! И существует ли столь жестокое сердце, которое не смягчилось бы при чтении их?! Ведь все вкусы передаются от одного к другому. Он говорит об этом с воодушевлением.

А великий художник — я это мог констатировать, читая

недавно с удовольствием предисловие Ричардсона, — как говорит он о живописи, каких только похвал не расточает ей! Он обожает свое искусство, он ставит его превыше всего, он почти сомневается, можно ли быть счастливым, не будучи художником, до такой степени он очарован своей профессией.

Кто не испытывал воодушевления Скалигера или отца Мальбранша, читая прекрасные тирады греческих, английских и французских трагических поэтов или некоторые философские произведения? Никогда госпожа Дасье не рассчитывала на то, что обещал ей муж, и она получила в сто раз больше. Если испытываешь своего рода энтузиазм даже при переводе и развитии чужих мыслей, то насколько большее наслаждение получаешь, когда мыслишь самостоятельно. Разве не наслаждение — это рождение и рост идей, создаваемые чутьем к природе и стремлением к познанию истины! Как изобразить акт воли или памяти, посредством которого душа как бы снова воспроизводится, приобщая одну идею к другой, родственной ей, так, чтобы из их сходства и как бы союза родилась третья; ибо поглядите на произведения природы: ее единообразие таково, что почти все эти произведения формируются по единому принципу.

Чрезмерные чувственные наслаждения лишаются своей яркости и перестают быть наслаждениями. Что касается умственных наслаждений, то они походят на них только до известной степени. Чтобы сделать их более утонченными, необходимо временно от них отказаться. Наконец, в умственных занятиях, как и в любви, бывают состояния экстаза. Да будет мне позволено это состояние назвать каталепсией, или неподвижностью ума, настолько онемевшего занимающим и очаровывающим его предметом, что кажется, будто при помощи абстракции он отделяется от собственного тела и от всего его окружающего, целиком отдаваясь тому, чем он поглощен. Упоенный чувством, он уже не чувствует ничего. Таково наслаждение, испытываемое в поисках и при нахождении истины. По экстазу Архимеда вы можете судить о могуществе этого очарования; известно, что этот экстаз стоил ему жизни<sup>6</sup>.

Пусть другие бросаются в толпу, чтобы не познать или, вернее, чтобы возненавидеть себя; мудрец избегает большого света и ищет уединения. Почему хорошо ему только с самим собой или с себе подобными? Потому, что его душа — верное зеркало, в которое не страшно заглянуть истинно добродетельному человеку: ему нечего бояться

самопознания, в худшем случае есть приятная опасность самовлюбления.

Мудрецу вроде вас вещи должны представляться в таком же виде, как человеку, который стал бы смотреть на землю с высоты небес и для которого исчезло бы все величие других людей и самые прекрасные дворцы превратились бы в хижины, а самые многочисленные армии стали бы похожи на кучу муравьев, со смехотворной яростью сражающихся из-за зернышка. Он потешался бы над суетностью людей, толпами заполняющих землю и толкающих друг друга из-за пустяков, которыми, по его справедливому мнению, никто из них не может удовлетвориться.

Как великолепно начинает Поп свой «Опыт о человеке»! Как ничтожны великие мира сего и короли перед ним! Вы — скорее друг, чем учитель, получивший от природы такую же силу гения, что и Поп; вы, злоупотребивший ею, неблагодарный, не заслуживший своих успехов в науках, — вы научили меня смеяться, подобно этому поэту, или, вернее, плакать над игрушками и пустяками, серьезно занимающими монархов. Всем своим счастьем обязан я вам. Право, завоевание целого мира не может сравниться с наслаждением философа в своем кабинете, окруженного немymi друзьями, которые, однако, говорят ему все, что он желает узнать. Только бы не отнял у меня бог самого существенного для жизни — здоровья, ибо при наличии здоровья мое сердце без отвращения будет любить жизнь; обладая самым необходимым для жизни, мой удовлетворенный дух будет всегда почитать мудрость.

Да, умственные занятия являются наслаждением для всех возрастов, для всех стран, для всех времен года и во все эпохи. Разве Цицерон не внушал многим из нас желание проверить это счастье на опыте? Увеселения хороши в молодости, буйные страсти которой они умеряют; чтобы испытать их, я несколько раз был вынужден предаваться любви. Любовь не внушает страха мудрецу: он умеет все примирить, увеличивать ценность одного при помощи другого. Тучи, омрачающие его разум, не делают последний бездейственным: они только указывают ему средство их рассеять. И действительно, солнце не скорее рассеивает облака атмосферы.

В старости, в возрасте равнодушия, когда уже невозможно ни доставление, ни получение других видов наслаждения, каким величайшим его источником является чтение и размышление! Какое наслаждение видеть каждый



день, как на твоих глазах, твоими руками создается и вырастает работа, которая будет приводить в восторг будущие поколения и даже современников! «Я бы хотел, — так сказал мне однажды человек, тщеславию которого льстило то, что он писатель, — проводить всю свою жизнь в хождении от своего дома к типографу и обратно». И разве не был он прав? Найдется ли нежная мать, которая была бы более счастлива от того, что произвела на свет прекрасного ребенка, чем автор, который удостоивается рукоплесканий за свои произведения?

Но зачем столько прославлять наслаждение, испытываемое от умственных занятий?! Кто не знает, что это — благо, не вызывающее, подобно другим благам жизни, ни отвращения, ни беспокойства; неисчерпаемое сокровище, самое надежное противоядие против жестокой скуки, сопровождающей нас повсюду, следующей за нами по пятам?! Счастлив тот, кто сумел разбить цепи всех своих предрассудков; только такой человек может испытать наслаждение во всей его чистоте; только он один может испытать приятное спокойствие духа, полное удовлетворение сильной, но нечестолюбивой души, которое и есть если не самое счастье, то источник его.

Остановимся на минуту, чтобы осыпать цветами путь великих людей, которых, подобно вам, Минерва увенчала бессмертным плющом. Вот Флора, приглашающая вас вместе с Линнеем подняться по новым тропам на ледяную вершину Альп, чтобы восхититься садом, посаженным руками природы под снежной горой, — садом, который некогда составлял все наследство знаменитого шведского профессора. Оттуда вы спуститесь в луга, цветы которых ожидают Линнея, чтобы он привел их в порядок, которым до того времени они как будто пренебрегали.<sup>7</sup>

А вот Мопертюи, гордость французской нации, нашедший себе оценку в другой<sup>8</sup>! Он встает из-за стола величайшего из королей, которым любит и которому дивится вся Европа. Куда он направляется? — В Совет природы, где его ожидает Ньютон.

Что можно сказать о химике, геометре, физике, механике, анатоме и г. п.? Последний испытывает, исследуя мертвого человека, почти такое же наслаждение, какое испытали люди, давшие ему жизнь.

Но все это уступает великому искусству врачевания. Врач является единственным философом, имеющим заслуги перед своей родиной, — это было сказано еще до меня. Он появляется, подобно братьям Елены<sup>9</sup>, при всех бурях

жизни. Что за волшебство и очарование! Один только вид его успокаивает кровь, возвращает мир взволнованной душе и возрождает сладкую надежду в сердцах несчастных смертных. Он возвещает жизнь и смерть, подобно астроному, предсказывающему затмение. У каждого в руках освещающий путь факел. Но если духу было радостно найти законы, управляющие им, — какое торжество вы испытываете при каждом удачном опыте, какое торжество, когда действительность оправдывает вашу смелость!

Итак, первая польза от наук — это польза от упражнения в них; само по себе это уже действительное и прочное благо. Счастлив тот, кто имеет вкус к умственным занятиям! Еще более счастлив тот, кому удается при помощи их освободить свой ум от иллюзий, сердце — от тщеславия. Это — желанная цель, которой вы достигли еще в нежном возрасте при помощи мудрости, тогда как множество педантов после полувека бессонных ночей и трудов, согбенные больше под тяжестью предрассудков, чем под тяжестью времени, по-видимому, научились всему, чему угодно, но только не мыслить. Эта последняя наука поистине очень редко встречается среди ученых, хотя она должна была бы быть, казалось бы, плодом всех других наук. Я с самого детства упражнялся именно в этой науке. А теперь, милостивый государь, судите вы, насколько я в ней преуспел; пусть эта благоговейная дань моей дружбы навеки сблизит меня с вами.

## ЧЕЛОВЕК-МАШИНА

Мудрец не может ограничиться изучением природы и истины; он должен осмелиться высказать последнюю в интересах небольшого кружка лиц, которые хотят и умеют мыслить. Ибо другим, по доброй воле являющимся рабами предрассудков, столь же невозможно постичь истину, сколь лягушкам научиться летать.

Все философские системы, рассматривающие человеческую душу, могут быть сведены к двум основным: первая, более древнего происхождения, есть система материализма, вторая — система спиритуализма.

Метафизики, утверждавшие, что материя вполне может обладать способностью к мышлению, ничуть не опозорили этим своего разума. Почему? Потому, что их преимущество — в данном случае это составляет преимущество — в том, что они плохо выражались. В самом деле, вопрос о том, способна ли материя, рассматриваемая сама по себе, к мышлению, равносителен вопросу о том, способна ли она отмечать время. Можно заранее предвидеть, что мы сумеем избежать того подводного камня, на котором Локк имел несчастье потерпеть крушение.

Последователи Лейбница со своими монадами выдвинули непостижимую гипотезу. Они скорее одухотворили материю, чем материализовали душу. В самом деле, разве можно определить существо, природа которого нам абсолютно неизвестна?

Декарт и все картезианцы, к которым долгое время причисляли также последователей Мальбранша, сделали ту же самую ошибку. Они допустили в человеке существование двух отдельных субстанций, словно они их видели и хорошо подсчитали.

Наиболее мудрые мыслители говорили, что единственным источником самопознания души может быть вера; тем не менее в качестве разумных существ они считали возможным сохранить за собой право исследовать то, что Священное писание понимает под словом «дух», которое служит ему для выражения понятия человеческой души. И если в своих исследованиях они в этом не сходятся с богословами, то разве последние более согласны между собой по всем остальным вопросам?

Вот в нескольких словах результаты всех их размышлений.

Если существует бог, то он является творцом как природы, так и откровения; он дал нам последнее, чтобы объяснить первую, и дал нам разум для их согласования между собой.

Не доверять знаниям, которые можно почерпнуть из знакомства с одушевленными телами, — значит признать природу и откровение взаимно уничтожающими друг друга противоположностями и, следовательно, иметь дерзость признать абсурд: что бог противоречит себе в своих творениях и обманывает нас.

Если существует откровение, оно не может противоречить природе. Только при помощи природы можно раскрыть смысл слов Евангелия, ибо только опыт может быть его истинным истолкователем. В самом деле, до сих пор все другие комментаторы только затемняли истину. Мы можем судить об этом на примере автора «Зрелища Природы»<sup>10</sup> «Поразительно, — говорит он по поводу Локка, — что человек, умаляющий нашу душу до того, что считает ее сделанной из грязи, осмеливается провозглашать разум судьей и самодержавным властителем в таинствах веры; ибо, — добавляет он при этом, — какое странное представление получили бы о христианстве, если бы пожелали следовать за разумом?»

Эти рассуждения, ничего не разъясняя по вопросу о вере, вместе с тем представляют собой настолько легкомысленные возражения против метода тех, кто считает возможным толкование священных книг, что мне почти стыдно тратить время на их опровержение.

Превосходство разума зависит не от громкого слова, лишенного смысла, но от его силы, обширности или пронизательности. Поэтому следует, очевидно, предпочесть душу, сделанную из грязи, но способную сразу раскрыть взаимоотношения и последовательность бесконечного множества с трудом постигаемых идей, душе глупой и тупой, хотя бы и сделанной из самых драгоценных элементов. Плохой философ тот, кто вместе с Плинием краснеет по поводу изменности нашего происхождения. То, что кажется изменным, в данном случае является самым ценным предметом, на который природа, по-видимому, затратила максимум искусства и изощренности. Подобно тому как человек, даже если бы он происходил из еще более как будто изменного источника, был бы тем не менее самым совершенным из всех существ, — так и душа, каково

бы ни было ее происхождение, раз только она чиста, благородна и возвышенна, является прекрасной душой, делающей честь тому, кто наделен ею.

Второй метод рассуждения Плюша кажется мне ошибочным уже по самой своей конструкции, граничащей с фанатизмом. Ибо если у нас имеется идея веры, которая находится в противоречии с самыми несомненными принципами и с самыми бесспорными истинами, то во имя этого откровения и его творца следовало бы полагать, что такая идея является ложной и что мы еще не понимаем настоящего смысла слов Евангелия.

Одно из двух: или все — как природа, так и откровение — является иллюзией, или только опыт мог бы обосновать веру. Но нельзя себе представить ничего более комичного, чем рассуждения нашего автора. Так и кажется, что слушаешь какого-нибудь перипатетика: «Не следует верить опытам Торичелли, так как если мы поверим им и устраним боязнь пустоты, то что за странная философия получится у нас!»

Я показал, насколько ошибочны рассуждения Плюша \*, во-первых, чтобы доказать, что если и существует откровение, то нельзя обосновать это одним только авторитетом церкви без проверки разума, как это утверждают все, опасющиеся последнего; во-вторых, чтобы защитить от нападений метод тех, кто захотел бы пойти по открываемому мною пути истолковывания сверхъестественных явлений, непонятных самих по себе, при помощи знаний, получаемых каждым из нас от природы.

Итак, в данной работе нами должны руководить только опыт и наблюдение. Они имеются в бесчисленном количестве в дневниках врачей, бывших в то же время философами, но их нет у философов, которые не были врачами. Первые прошли по лабиринту человека, осветив его; только они одни сняли покровы с пружин, спрятанных под оболочкой, скрывающей от наших глаз столько чудес; только они, спокойно созерцая нашу душу, тысячу раз наблюдали ее как в ее изменных проявлениях, так и в ее величии, не презирая ее в первом из этих состояний и не преклоняясь перед нею во втором. Повторяю, вот единственные ученые, которые имеют здесь право голоса. Что могут сказать другие, в особенности богословы? Разве не смешно слышать, как они без всякого стыда решают вопросы, о которых ничего не знают и от которых, напро-

---

\* Он явно допускает логическую ошибку *petitio principii* <sup>10a</sup>.

тив, совершенно отделились благодаря изучению всяких темных наук, приведших их к тысяче предрассудков, или, попросту говоря, к фанатизму, который делает их еще большими невеждами в области понимания механизма тел.

Но, хотя мы и избрали наилучших руководителей, мы еще встретим на нашем пути множество трений и препятствий.

Человек настолько сложная машина, что совершенно невозможно составить себе о ней ясную идею, а следовательно, дать точное определение. Вот почему оказались тщетными все исследования а priori самых крупных философов, желавших, так сказать, воспарить на крыльях разума. Поэтому только путем исследования а posteriori, т. е. пытаясь найти душу как бы внутри органов тела, можно не скажу открыть с полной очевидностью саму природу человека, но достигнуть в этой области максимальной степени вероятности.

Итак, возьмем в руки посох опыта и оставим в покое историю всех бесплодных исканий философов. Быть слепым и все же думать, что можно обойтись без посоха, — значит обнаружить верх ослепления. Прав один наш современник, говоря, что только тщеславие не умеет извлекать такой же пользы из вторичных причин, как из первичных. Можно и даже должно восхищаться самыми бесполезными трудами великих гениев — всеми этими Декартами, Мальбраншами, Лейбницами и Вольфами; но я спрашиваю вас: каковы плоды их глубоких размышлений и всех их трудов? Начнем же с рассмотрения не того, что думали, но что следует думать, чтобы обрести покой.

Существует столько же умов, характеров и различных нравов, сколько и темпераментов. Еще Гален знал эту истину, которую развил не Гиппократ, как это утверждает автор «Истории души»<sup>11</sup>, а Декарт, говоря, что одна только медицина в состоянии вместе с телом изменять дух и нравы. И действительно, в зависимости от природы, количества и различного сочетания соков, образующих меланхолический, холерический, флегматический или сангвинический темпераменты, каждый человек представляет собою особое существо.

Во время болезни душа то потухает, не обнаруживая никаких признаков жизни, то словно удваивается: так велико охватывающее ее исступление; но помрачение ума рассеивается, и выздоровление снова превращает глупца в разумного человека. Порой самый блестящий гений становится безумным, перестает сознавать самого себя,

и тогда прощайте, богатства знания, приобретенные с такими затратами и трудом!

Вот паралитик, спрашивающий, на кровати ли его нога; вот солдат, воображающий, что обладает рукой, которую у него отрезали. Воспоминание о своих прежних ощущениях и о месте, с которым привыкла соединять последние его душа, порождает у него иллюзию и особого рода безумие. Достаточно заговорить с ним об отсутствующей у него части тела, чтобы напомнить ему о ней и заставить почувствовать все ее движения; и при этом воображение испытывает настоящее страдание.

Один, как ребенок, плачет при приближении смерти, над которой другой подшучивает. Что нужно было, чтобы превратить бесстрашие Кая Юлия, Сенеки или Петрония в малодушие или трусость? Всего только расстройство селезенки или печени или засорение воротной вены. А почему? Потому, что воображение засоряется вместе с нашими внутренними органами, от чего и происходят все эти своеобразные явления истерических и ипохондрических заболеваний.

Стоит ли упоминать о тех, которые воображают, что превратились в оборотня, в петуха или вампира, которые верят, что мертвые высасывают из них кровь; или о тех, кому кажется, что у них нос или другие части тела стеклянные, и которым приходится советовать спать на соломе, чтобы они не боялись разбиться? А для того чтобы они вернулись к прежним привычкам и вновь ощутили свою истинную плоть, под ними поджигают солому, заставляя их бояться сгореть: ужас, испытываемый при этом, иногда излечивал паралич. Я лишь мимоходом отмечаю эти всем известные факты.

Я не буду подробно останавливаться и на действии сна. Взгляните на утомленного солдата — он храпит в окопах под гул сотни орудий, его душа ничего не слышит, его сон — настоящая апоплексия. Подле него разрывается бомба, но он слышит ее, может быть, в еще меньшей степени, чем копошащееся под его ногами насекомое.

С другой стороны, пред нами человек, пожираемый ревностью, ненавистью, скупостью или тщеславием; он нигде не может найти себе покоя. Самая спокойная обстановка, прохладительные и успокоительные напитки — все является бесполезным для того, чье сердце терзается страстью.

Душа и тело засыпают одновременно. По мере того как затихает движение крови, приятное чувство мира и спокой-

ствия распространяется по всей машине; душа чувствует, как вместе с веками томно тяжелеет она, как слабеет вместе с волокнами мозга и как мало-помалу словно парализуется вместе со всеми мускулами тела. Последние более не в состоянии выносить тяжести головы, душа не может вынести тяжести мысли — она погружается в сон, словно в небытие.

Если кровообращение протекает с чрезмерной быстротой, душа не может заснуть. Если душа сильно взволнована, кровь не может успокоиться; она скачет в жилах галопом, с шумом, который можно слышать; таковы две взаимно действующие друг на друга причины бессонницы. Чувство страха, испытанное во сне, заставляет сердце учащенно биться и отнимает у нас необходимый приятный покой, как это делают острая боль или неотложная нужда. Наконец, подобно тому как прекращение функции души вызывает сон, так даже во время бодрствования (являющегося в таком случае бодрствованием только наполовину) часто наблюдаются состояния полусна души, полусознательности; это доказывает, что душа не всегда ждет тела, чтобы заснуть, потому что хотя она и не совсем спит, но как мало ей не хватает для состояния сна, раз она не может заставить себя обратить внимание ни на один объект среди бесчисленного множества туманных идей, которые, подобно облакам, заполняют, если позволено будет так выразиться, атмосферу нашего мозга.

Опиум слишком тесно связан со сном, который он вызывает, чтобы не упомянуть здесь о нем. Это средство, подобно вину или кофе, опьяняет различно, в зависимости от принятой дозы. Опиум делает человека счастливым в том состоянии, которое, являясь подобием смерти, казалось бы, должно было бы стать могилой для чувства. Что за приятная немощь! Душе не хотелось бы никогда выйти из этого состояния. Она была жертвой величайших страданий; теперь она испытывает только удовольствие от того, что не страдает больше, и наслаждается восхитительным спокойствием. Опиум может даже воздействовать на волю: он заставляет душу, желающую бодрствовать и развлекаться, вопреки ее желанию улечься в постель; я обхожу молчанием действие ядов.

Подхлестывая воображение, кофе — это противоядие вина — успокаивает нашу мигрень и рассеивает наши горести, не вызывая, подобно вину, на следующий день похмелья.

Рассмотрим теперь душу со стороны других ее потребностей.



Человеческое тело — это заводящая сама себя машина, живое олицетворение непрерывного движения. Пища восстанавливает в нем то, что пожирается лихорадкой. Без пищи душа изнемогает, впадает в неистовство и наконец, изнуренная, умирает. Она напоминает тогда свечу, которая на минуту вспыхивает, прежде чем окончательно потухнуть. Но если питать тело и наполнять его сосуды живительными соками и подкрепляющими напитками, то душа становится бодрой, наполняется гордой отвагой и уподобляется солдату, которого ранее обращала в бегство вода, но который вдруг, оживая под звуки барабанного боя, бодро идет навстречу смерти. Точно таким же образом горячая вода волнуется кровь, а холодная — успокаивает.

Как велика власть пищи! Она рождает радость в опечаленном сердце; эта радость проникает в душу собеседников, выражающих ее веселыми песнями, на которые особенные мастера французы. Только меланхолики остаются неизменно в подавленном состоянии, да и люди науки мало склонны к веселью.

Сырое мясо развивает у животных свирепость, у людей при подобной же пище развивалось бы это же качество; насколько это верно, можно судить по тому, что английская нация, которая ест мясо не столь прожаренным, как мы, но полусырым и кровавым, по-видимому, отличается в большей или меньшей степени жестокостью, проистекающей от пищи такого рода наряду с другими причинами, влияние которых может быть парализовано только воспитанием. Эта жестокость вызывает в душе надменность, ненависть и презрение к другим нациям, упрямство и другие чувства, портящие характер, подобно тому как грубая пища создает тяжелый и неповоротливый ум, характерными свойствами которого являются лень и бесстрастность.

Попу хорошо была известна власть чревоугодия, когда он утверждал: «Суровый Кассий постоянно говорит о добродетели и думает, что тот, кто терпит порочных, сам порочен. Эти прекрасные чувства сохраняются у него только до обеда; когда же наступает час обеда, он предпочитает преступника, у которого изысканный стол, святому постнику».

«Возьмите, — говорит он дальше, — одного и того же человека в здоровом и больном состоянии, на хорошей должности или потерявшим ее; вы увидите, как он будет дорожить жизнью или презирать ее. Вы его увидите безумным на охоте, пьяным на провинциальной вечеринке,

вежливым на балу, добрым другом в городе, человеком без стыда и совести при дворе».

В Швейцарии я знал одного судью, по имени Штейгер де Виттихгофен; натошак это был самый справедливый и даже самый снисходительный судья; но горе несчастному, оказывавшемуся на скамье подсудимых после сытного обеда судьи: последний способен бывал тогда повесить самого невинного человека.

Мы мыслим и вообще бываем порядочными людьми только тогда, когда веселы или бодры: все зависит от того, как заведена наша машина. Иногда можно подумать, что душа имеет местопребывание в желудке и что Ван-Гельмонт, помещая ее в выходе желудка, ошибался только в том отношении, что принимал часть за целое.

К каким только крайностям не приводит жестокий голод! Нет пощады плоти, которой мы обязаны жизнью или которой мы даем жизнь; мы раздираем ее зубами, справляем ужасный пир, и в этом иступлении слабый всегда является добычей более сильного.

Беременность, эта желанная соперница бледной немочи, не только очень часто влечет за собой извращенные вкусы, сопровождающие оба этих состояния: бывало, что она толкала душу на самые ужасные преступления — последствия внезапной мании, удушающей даже естественный закон. Таким образом, мозг, эта матка духа, извращается одновременно с маткой тела.

Иным бывает иступление мужчины или женщины, являющихся жертвами воздержания и избытка здоровья! В этом случае застенчивая и тихая девушка не только теряет всякий стыд и скромность — она становится способной относиться к кровосмешению так же легко, как светская женщина к любовной связи. Если ее потребность не находит быстрого удовлетворения, дело может не ограничиться приступами бешенства матки или сумасшествием: несчастная может умереть от болезни, для лечения которой есть столько врачей.

Надо быть слепым, чтобы не видеть неизбежного влияния возраста на разум. Душа развивается вместе с телом и прогрессирует вместе с воспитанием. У прекрасного пола на душу оказывает влияние также утонченность его темперамента; отсюда вытекают женская нежность, чувствительность, пылкость чувства, основанные в большей степени на страсти, чем на разуме; отсюда же женские предрассудки и суеверие, отпечаток которых изглаживается с большим трудом, и т. п. Напротив,

мужчина, у которого мозг и нервы отличаются большей устойчивостью, обладает более подвижным умом, как и более подвижными чертами лица; образование, которого лишена женщина, увеличивает сверх того его душевную силу. Благодаря такому совместному действию природы и искусства он оказывается более способным к благодарности, более великодушным, более постоянным в дружбе и твердым в несчастье. Но мы разделяем в основных чертах мысль автора «Писем о физиономиях», что те, кто соединяют изящество души и тела с самыми нежными и утонченными чувствами сердца, вовсе не должны завидовать этой нашей удвоенной силе, которая, по-видимому, дана мужчине, с одной стороны, для того, чтобы он лучше мог воспринимать чары красоты и, с другой — чтобы он полнее мог удовлетворять желания красавиц.

Не надо, впрочем, быть столь выдающимся физиономистом, как упомянутый автор, чтобы судить о качествах ума по выражению и чертам лица, если только они хоть сколько-нибудь выявлены, как не надо быть выдающимся врачом, чтобы распознать болезнь на основании сопровождающих ее явных симптомов. Вглядитесь внимательно в портреты Локка, Штала, Бургаве или Мопертюи, и вас несколько не поразят их могучие лица, их орлиные глаза. Пробежите глазами другие портреты, и вы всегда сумеете отличить черты красоты и крупного ума и даже часто просто черты честности и мощенничества. Так, например, часто отмечалось, что в портрете одного знаменитого поэта совмещается наружность негодяя с огнем Прометея<sup>12</sup>.

История дает нам один замечательный пример могущественного влияния погоды. Знаменитый герцог Гиз был настолько убежден, что Генрих III, во власти которого он находился много раз, никогда не решится убить его, что отправился в Блуа. Узнав об его отъезде, канцлер Шиверни воскликнул: «Погибший человек!» После того как роковое предсказание оправдалось, его спросили, на каком основании он его сделал. «Я знал короля, — отвечал он, — уже двадцать лет; он от природы добрый и даже слабый человек; но я наблюдал, что в холодную погоду малейший пустяк приводит его в нетерпение и бешенство».

У одного народа ум тяжеловесен и неповоротлив, у другого — жив, подвижен и проницателен. Это может быть объяснено отчасти различием пищи, которой они питаются, различием семени их предков\*, а также хаосом

\* История животных и людей доказывает влияние семени отцов на ум и тело детей.

различных элементов, плавающих в бесконечном воздушном пространстве. Подобно телу, дух знает свои эпидемические болезни и свою цингу.

Влияние климата настолько велико, что человек, переменяющий его, невольно чувствует эту перемену. Такого человека можно сравнить со странствующим растением, самого себя как бы пересадившим на другую почву; если климат в новом месте будет другим, то оно или выродится, или улучшит свою породу.

Мы всегда невольно заимствуем от тех, с кем живем, их жесты и их выговор, подобно тому как невольно опускаем веки под угрозой ожидаемого нами удара; причина этого та же, по которой тело зрителя машинально и против своей воли подражает всем движениям хорошего мима.

Только что сказанное доказывает, что для человека, наделенного умом, лучшим обществом является собственное общество, если он не может найти общества себе подобных. Ум притупляется в обществе тех, кто его лишен, вследствие отсутствия упражнения: во время игры в мяч плохо отбивается тот мяч, который плохо подается. Я предпочитаю умного человека, лишенного всякого воспитания, лишь бы он был достаточно молод, тому, который получил дурное. Плохо воспитанный ум подобен актеру, которого испортила провинция.

Итак, различные состояния души всегда соответствуют аналогичным состояниям тела. Но для лучшего обнаружения этой зависимости и ее причин воспользуемся здесь сравнительной анатомией: вскроем внутренности человека и животных. Ибо как познать природу человека, если не сопоставить его строение со строением животных?

В общем и целом форма и строение мозга у четвероногих почти такие же, как и у человека: те же очертания, то же расположение всех частей лишь с той существенной разницей, что у человека мозг в отношении к объему тела больше, чем у всех животных, и притом обладает большим количеством извилин. За человеком следует обезьяна, бобр, слон, собака, лисица и кошка — животные наиболее похожие на человека, так как у них наблюдается постепенная аналогия в строении мозолистого вещества мозга, в котором Ланчизи устанавливал местопребывание души еще до покойного де ла Пейрони<sup>13</sup>, который, впрочем, подкрепил это мнение многочисленными опытами.

После четвероногих наибольшим умом отличаются птицы. У рыб очень большая голова, но она лишена разума, как это бывает и у многих людей. У них совсем нет мозоли-

стого вещества и очень мало мозга; последний совершенно отсутствует у насекомых.

Я не стану углубляться в изложение всех разнообразных форм природы и гипотез по поводу них, так как тех и других бесконечное множество, в чем легко убедиться, прочтя хотя бы только труды Уиллиса: «*De cerebri*» и «*De Anima Brutorum*»<sup>14</sup>.

Я сделаю только выводы, с несомненностью вытекающие из бесспорных наблюдений, а именно: 1) что, чем более дики животные, тем меньше у них мозга; 2) что этот последний, по-видимому, увеличивается так или иначе в зависимости от степени их приручения и 3) что природой извечно установлен своеобразный закон, согласно которому, чем больше у животных развит ум, тем больше теряют они в отношении инстинкта. При этом возникает вопрос, выгодно ли им это или нет.

Не следует, впрочем, приписывать мне утверждение, что для того, чтобы судить о степени прирученности животных, достаточно знать только объем их мозга. Необходимо еще, чтобы качество соответствовало количеству и чтобы твердые и жидкие части находились в известном равновесии, являющемся необходимым условием здоровья.

Хотя у слабоумных людей вопреки обычному представлению мозг и не отсутствует совершенно, но он отличается плохой консистенцией, например излишней мягкостью. То же самое относится и к помешанным; дефекты их мозга не всегда ускользают от нашего исследования; но если причины слабоумия, помешательства и т. п. не всегда бывают осязательны, то как же можно установить причины различия обыкновенных умов? Они ускользнули бы даже от взора рысей и аргусов. *Малейший пустяк, ничтожное волокно, нечто такое, чего не в состоянии открыть самая точная анатомия*, могли бы превратить в дураков Эразма и Фонтенеля, который сам говорит об этом в одном из лучших своих «Диалогов».

Уиллис отметил, что у детей, у щенят и у птиц кроме мягкости мозгового вещества серое вещество мозга как бы выскоблено и обесцвечено и что их мозговые извилины столь же недоразвиты, как и у паралитиков. Он совершенно справедливо присовокупляет, что варолиев мост (часть продолговатого мозга), очень развитый у человека, последовательно уменьшается у обезьяны и других выше-названных животных, между тем как у телят, быка, волка, овцы и свиньи, у которых эта часть имеет очень

небольшие размеры, крупными размерами отличаются ягодицы и яички.

Какие бы скромные и осторожные выводы мы ни сделали из этих наблюдений, а также из многочисленных других наблюдений над своеобразными особенностями сосудов и нервов, все же подобное разнообразие не может быть бессмысленной игрой природы. Оно доказывает по меньшей мере необходимость хорошей и сложной организации, так как во всем животном царстве душа, укрепляясь вместе с телом, увеличивает свою проницательность по мере развития последним своих сил.

Остановимся немного на различной степени понятливости животных. Без сомнения, правильно проведенная аналогия между людьми и животными заставляет наш ум признать, что вышеупомянутые причины вызывают различие, существующее между ними и нами, хотя должно признаться, что наш слабый рассудок, ограниченный самыми грубыми наблюдениями, не в состоянии раскрыть всех связей, существующих между причинами и следствиями<sup>15</sup> Эта своеобразная гармония никогда не будет познана философами.

Среди животных некоторые научаются говорить и петь; они в состоянии запоминать мелодию и соблюдать интервалы, как любой музыкант. Другие хотя и обнаруживают больше ума, как, например, обезьяна, но не могут этого добиться. Почему же это происходит, если не из-за дефекта в их органах речи?

Но в такой ли степени связан этот дефект с самим устройством этих органов, что против него нет никакого средства, или, иначе говоря, абсолютно ли невозможно научить это животное речи? Я этого не думаю.

Я предпочел бы взять в качестве примера больших обезьян, покуда случай не открыл нам других видов животных, более сходных с нами, ибо ничто не говорит за то, что таковые не существуют в каких-нибудь не исследованных нами странах. Человекоподобная обезьяна настолько похожа на нас, что естествоиспытатели назвали ее «диким» или «лесным человеком». Я взял бы ее в том же возрасте, в каком находились ученики Аммана, т. е. не слишком молодой, не слишком старой, так как те обезьяны, которых привозят в Европу, обыкновенно бывают слишком старыми. Я выбрал бы экземпляр с самой смысленной физиономией, что гарантировало бы мне выполнение многочисленных маленьких опытов, которые я бы проделывал с ним. Наконец, не считая себя достойным быть его

наставником, я поместил бы его в школу только что названного педагога или другого, столь же искусного, если таковой вообще существует.

Вы знаете из книги Аммана и от всех \* заимствовавших его метод о чудесах, которые ему удалось достигнуть с глухими от рождения, глаза которых он, по его собственным словам, превратил в органы слуха, и о том, в какое непродолжительное время он научал их слышать, говорить, читать и писать.

Я придерживаюсь мнения, что глаза глухого видят яснее и отчетливее, чем глаза нормального человека, в силу того, что потеря какого-нибудь органа или чувства может увеличивать силу или остроту другого; но обезьяна видит и слышит и понимает все, что слышит и видит; она настолько хорошо понимает делаемые ей знаки, что — я убежден в этом — во всякой игре или каком-нибудь другом упражнении одержит верх над учениками Аммана. Почему же в таком случае обучение обезьяны считать невозможным? Почему в конце концов не смогла бы она благодаря упражнению подражать по примеру глухих необходимым для произнесения слов движениям? Я не решусь утверждать, что органы речи обезьяны, что бы с ними ни делали, не в состоянии произносить членораздельных звуков. Утверждение о такой абсолютной неспособности кажется мне странным ввиду большой аналогии, существующей между обезьяной и человеком, и ввиду того, что до сих пор неизвестно другое животное, которое по внутреннему строению и по внешнему виду столь поразительно походило бы на человека. Локк, которого ни один человек, конечно, не мог бы заподозрить в легковерии, тем не менее с полным доверием отнесся к истории с попугаем, рассказанной Темплом в его воспоминаниях: попугай этот отвечал на вопросы кстати и научился вести своего рода связный разговор. Я знаю, что над этим великим метафизиком много смеялись \*\*. Но скажите, много ли сторонников нашел бы тот, кто решился бы возвестить миру, что существуют породы, размножающиеся без помощи яиц и без самок? А между тем Трамбле открыл такие породы, которые размножаются без сокоупления, при помощи только деления <sup>16</sup> И разве Амман не прослыл бы сумасшедшим, если бы, прежде чем ему удался его опыт, он стал хвастаться, что сумеет в короткое время обучить своих глухих

---

\* Автор «Естественной истории души» и др.

\*\* Автор «Естественной истории души».

учеников? А между тем его успехи привели мир в изумление, и, подобно автору «Истории полипов»<sup>17</sup>, он навек прославил свое имя. Человек, обязанный произведенными им чудесами своему гению, с моей точки зрения, стоит выше того, кто обязан ими случаю. Тот, кто открыл способ внести поправку в самое прекрасное из царств природы и придать ему совершенство, которого оно раньше не имело, должен быть поставлен выше праздного составителя нелепых систем или кропотливого автора бесплодных гипотез. Открытия Аммана имеют совершенно особую ценность. Он освободил людей из-под власти инстинкта, которой, казалось, они были осуждены подчиняться; он дал им идеи, ум — словом, душу, которую без него они никогда бы не обрели. Это ли не величайшая степень могущества?

Не будем считать ограниченными средства природы! С помощью человеческого искусства они могут стать безграничными.

Разве нельзя попытаться тем же способом, каким открывают евстахиеву трубу у глухих, открыть ее у обезьян? Разве стремление подражать произношению учителя не в состоянии развязать органы речи у животных, умеющих с таким искусством и умом подражать множеству других жестов? Я предлагаю указать мне на сколько-нибудь убедительные опыты в пользу того, что мой проект является неосуществимым и нелепым; сходство строения и организации обезьяны с человеком таково, что я почти не сомневаюсь, что при надлежащих опытах с этим животным мы в конце концов сможем достигнуть того, что научим его произносить слова, т. е. говорить. Тогда перед нами будет уже не дикий и дефективный, а настоящий человек, маленький парижанин, имеющий, как и мы, все, что нужно для того, чтобы мыслить и извлекать пользу из своего воспитания.

Истинные философы согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида, у которого было меньше природного инстинкта, чем у других животных, царем которых он себя тогда не считал; он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т. е. физиономией, свидетельствующей о большей понятливости. Ограничиваясь, по выражению последователей Лейбница, интуитивным знанием, он замечал только формы и цвета, не умея проводить между ними никаких различий; во всех возрастах сохраняя черты



ребенка, он выражал свои ощущения и потребности так, как это делает проголодавшаяся или соскучившаяся от покоя собака, которая просит есть или гулять.

Слова, языки, законы, науки и искусства появились только постепенно; только с их помощью отшлифовался необделанный алмаз нашего ума. Человека дрессировали, как дрессируют животных; писателем становятся так же, как носильщиком. Геометр научился выполнять самые трудные чертежи и вычисления, подобно тому как обезьяна научается снимать и надевать шапку или садиться верхом на послушную ей собаку. Все достигалось при помощи знаков; каждый вид научался тому, чему мог научиться.

Таким именно путем люди приобрели то, что наши немецкие философы называют *символическим познанием*.

Как мы видим, нет ничего проще механики нашего воспитания: все сводится к звукам или словам, которые из уст одного через посредство ушей попадают в мозг другого, который одновременно с этим воспринимает глазами очертания тел, произвольными знаками которых являются эти слова.

Но кто заговорил впервые? Кто был первым наставником рода человеческого? Кто изобрел способ использовать понятливость нашего организма? Я не знаю этого: имена этих первых счастливых гениев скрыты в глубине времен. Но искусство является детищем природы: последняя должна была задолго предшествовать ему.

Надо предположить, что люди, которые наилучше организованы и на которых природа излила все свои благодеяния, научили всему этому других. Слыша какой-нибудь новый шум, испытывая новые ощущения или созерцая разнообразные и чудные предметы, составляющие восхитительное зрелище природы, они не могли не оказаться в положении Шартрского глухого, историю которого впервые поведал нам великий Фонтенель и который на сороковом году жизни впервые услышал поразивший его звон колоколов.

Поэтому разве нелепо было бы предположить, что эти первые смертные попытались, подобно вышеупомянутому глухому или подобно животным и немым (ибо последние представляют собой особый вид животных), выразить свои новые чувства движениями, отвечающими характеру их воображения, а затем уже произвольными звуками, свойственными всякому животному, — естественным выражением их удивления и радости, их порывов и потребностей. Ибо, без всякого сомнения, у тех, кого природа

наделила более тонкими чувствами, имеется и бóльшая возможность выражения последних.

Таким именно образом, по моему мнению, люди использовали свои чувства, или свои инстинкты для развития ума, а этот последний — для приобретения знаний. Таким именно образом, как мне кажется, мозг наполнился представлениями, для восприятия которых его создала природа. Одно приходило на помощь другому, и по мере роста этих небольших зачатков все предметы Вселенной стали видны как на ладони.

Подобно тому как скрипичная струна или клавиша клавесина дрожит и издает звук, так и струны мозга, по которым ударяли звучащие лучи, придя в возбуждение, передавали или повторяли дошедшие до них слова<sup>18</sup>. Но устройство этого органа таково, что, как только глаза увидели и восприняли изображение предметов, мозг не может не видеть этих отображений и различий между ними; и далее, когда знаки этих отличий уже отмечены или запечатлены в мозгу, душа неизбежно начинает исследовать их взаимоотношения; последнее, однако, было бы невозможно без открытия знаков, или изобретения языков. В те времена, когда Вселенная была почти немой, душа в отношении ко всем предметам находилась в положении человека, который стал бы рассматривать какую-нибудь картину или произведение скульптуры, не имея никакой идеи пропорциональности частей: такой человек ничего не смог бы в ней различить. Она была также подобна ребенку (ведь тогда душа переживала еще период своего детства), который, держа в руке несколько соломинок или палочек, глядит на них неопределенным и поверхностным взглядом, не умея ни сосчитать их, ни провести между ними какое-нибудь различие. Но стоит только прицепить к одной из таких палочек, например к той, которая называется мачтой, какой-нибудь флажок, а к другой — иной флажок; стоит только, чтобы первый из этих предметов стал обозначаться номером первым, а второй — знаком или цифрой два, — и тот же ребенок сумеет их сосчитать; таким образом он постепенно усвоит всю арифметику. С того момента, как какая-нибудь фигура покажется ему равной другой по своему *числовому* знаку, он без труда будет умозаключать, что это два различных тела, что  $1 + 1 = 2$ , что  $2 + 2 = 4$ \* и т. д.

---

\* Еще до настоящего времени существуют народы, которые из-за отсутствия большого количества знаков умеют считать только до двадцати.

Действительное или кажущееся сходство фигур составляет главную основу всех истин и всех наших знаний; ясно, что труднее всего усвоить те из них, знаки которых менее просты и менее доступны чувствам; поэтому для своего понимания они требуют большей способности. Нужен сильный ум, чтобы охватить и скомбинировать огромное количество слов, при помощи которых науки, о которых я говорю, выражают свои истины; напротив, науки, говорящие языком цифр или иными знаками, усваиваются очень легко. Этим — больше, чем их очевидностью, — объясняются успехи алгебраических вычислений.

Все знания, которыми ветер надувает мозговые полушария наших чванных педантов, представляют собой, таким образом, не что иное, как нагромождение слов и образов, оставивших в нашей голове следы, при помощи которых мы различаем и вспоминаем предметы. Все наши представления воскресают, подобно тому как опытный садовник при взгляде на различные растения вспоминает их названия. Слова и обозначаемые ими образы настолько тесно связаны между собой в нашем мозгу, что редко можно вообразить себе какой-нибудь предмет, не обозначая его каким-либо именем или значком, присвоенным ему.

Я все время употребляю слово «воображать», так как, по моему убеждению, все у нас — воображение и все составные части души могут быть сведены к одному только образующему их воображению; таким образом, суждение, размышление и память представляют собой вовсе не абсолютные части души, но настоящие модификации своеобразного «мозгового экрана», на котором, как от волшебного фонаря, отражаются запечатлевшиеся в глазу предметы.

Но если таковы удивительные и непостижимые следствия устройства мозга, если все воспринимается посредством воображения и может быть объяснено им, то не к чему производить разделения между чувственным и мыслящим началом в человеке. Не является ли это явным противоречием у сторонников неразложимости духа? Ибо вещь, которую можно делить, не может быть признана, если остерегаться нелепости, неделимой. Вот к чему ведет дурное употребление терминов — употребление даже умными людьми как попало, без всякого смысла, громких слов вроде «духовность», «нематериальность» и т. п.

Нет ничего легче, чем обосновать систему, построенную, подобно рассматриваемой нами, на внутреннем чувстве и опыте каждого отдельного индивидуума. Пусть воображе-

ние — эта способность мозга фантазировать, природа которой нам столь же неизвестна, как и ее способ проявления, — является в действительности чем-то незначительным или слабым; пусть оно едва в состоянии проводить аналогию между своими идеями; пусть оно видит, и притом весьма своеобразно, только то, что делается непосредственно возле него и что особенно сильно на него влияет; но во всяком случае несомненно, что мы воспринимаем только посредством воображения: это оно представляет себе все предметы при помощи характеризующих последние слов и образов. Таким образом, повторяю, оно является душой, так как выполняет все функции последней. При помощи увлекательной кисти воображения холодный скелет разума облекается плотью и кровью. Благодаря ему процветают науки и расцветают искусства, говорят леса, вздыхает эхо, стонут скалы, начинает дышать мрамор и все неодушевленные тела получают жизнь. Воображение придает нежности влюбленного сердца острую привлекательность сладострастия; оно бросает семена последнего в кабинет философа и напыщенного педанта; оно, наконец, создает ученых, ораторов и поэтов. Одни глупо насмехались над ним, другие тщетно пытались превознести его, но и те и другие плохо понимали его, ибо воображение не просто идет по стопам красоты и изящных искусств, не только рисует природу, но и в состоянии ее измерять. Оно рассуждает, судит, проникает внутрь, сравнивает и углубляет. Может ли оно при живом восприятии красоты запечатлеваемых в нем картин не обнаруживать их взаимоотношения? Нет, подобно тому как оно не может поддаваться чувственным наслаждениям, не испытывая их во всей полноте, оно не может также размышлять о том, что механически воспринято им, не становясь вместе с тем самым суждением.

Чем больше упражняют воображение даже самого слабого ума, тем больше, так сказать, он увеличивается в объеме; а чем больше он увеличивается, тем более становится подвижным, сильным, обширным и способным к мышлению. Самая совершенная организация нуждается в подобном упражнении.

Организация является главным преимуществом человека. Напрасно все авторы, писавшие по вопросам морали, ценят только таланты, приобретенные при помощи труда и размышлений, но не качества, которые они считают происходящими от природы. Ибо откуда, спрашиваю я вас, появляются разные умения, знания и черты добродетели,

как не от организации мозга людей умелых, ученых или добродетельных? И откуда в свою очередь появляется у нас эта организация, если не от природы? Мы получаем ценные качества только благодаря ей; мы обязаны ей всем, что мы из себя представляем. Почему же я должен ценить людей, имеющих природные качества, меньше, чем тех, кто блещет приобретенными и как бы заимствованными добродетелями? Какой бы характер и происхождение ни имела заслуга, она всегда достойна уважения, и речь может идти только о том, чтобы определить ее размеры. Хотя ум, красота, богатство, благородное происхождение и являются игрой случая — все они имеют свою цену, как и таланты, знания, добродетель и т. п. Те, кого природа одарила самыми ценными своими дарами, должны жалеть тех, кому она в них отказала; но они могут чувствовать свое превосходство и не будучи высокомерными, просто в качестве знатоков. Красивая женщина, считающая себя некрасивой, кажется мне столь же смешной, как умный человек, думающий, что он дурак. Преувеличенная скромность (недостаток, встречающийся, правда, чрезвычайно редко) представляет собой неблагоприятность по отношению к природе. Напротив того, нескрываемая гордость есть признак прекрасной и великой души, изобличающий мужественность характера.

Если организация человека является первым его преимуществом и источником всех остальных, то образование представляет собой второе его преимущество. Без образования наилучшим образом организованный ум лишается всей своей ценности, так же как отлично созданный природой человек в светском обществе ничем не отличался бы от грубого мужика. Но какой плод получился бы при самом лучшем воспитании, не имея мы органа, в достаточной степени открытого для воспитания или зачатия идей? Ибо столь же невозможно внушить какую-нибудь идею человеку, лишенному органов чувств, как не дано зачать ребенка женщине, над которой природа настолько зло посмеялась, что забыла наделить ее наружными половыми органами, как это мне пришлось наблюдать у одной женщины, которая не имела ни половой щели, ни влагалища, ни матки и брак которой вследствие этого был расторгнут после десятилетней совместной жизни.

Но если мозг одновременно и хорошо организован, и хорошо образован, то он представляет плодородную, прекрасно засеянную почву, которая дает урожай сам-сто; другими словами (оставляя образный стиль, часто несобхо-

димый для лучшего выражения того, что чувствуешь, и придания прелести самой истине), можно сказать, что воображение, упражнением поднятое до прекрасного и редкого свойства гениальности, сразу схватывает все взаимоотношения воспринимаемых им идей; с легкостью схватывает оно огромное количество предметов, чтобы извлечь из них в конце концов длинную цепь выводов, которые в свою очередь представляют собой новые взаимоотношения, порожденные взаимным сравнением первых, с которыми душа находит полное сходство. Таково, по моему мнению, происхождение ума. Я употребляю выражение «находит», как выше я употребил эпитет «кажущееся» по отношению к сходству предметов, не потому, чтобы я думал, что наши чувства всегда обманчивы, как это утверждал отец Мальбранш, и не потому, что наши глаза, будучи от природы как бы пьяными, не видят предметов такими, каковы они в действительности, хотя микроскоп доказывает нам это каждый день, но для того, чтобы не затевать спора с пирронцианцами, самым выдающимся из которых является Бейль.

Я говорю об истине вообще то же самое, что Фонтенель говорит о некоторых определенных истинах в частности, а именно что ею надо жертвовать в интересах общества. Кротость моего характера заставляет меня избегать всяких споров, поскольку дело не идет о том, чтобы придать разговору большую остроту. Картезианцы могут тщетно разглагольствовать о своих *врожденных идеях*; я, конечно, не затрачу на опровержение подобных химер и четверти того труда, который затратил на это Локк. В самом деле, что за смысл писать толстую книгу для доказательства теории, уже три тысячи лет тому назад ставшей аксиомой?

Согласно принципам, которые мы выдвинули и которые мы считаем правильными, человек, обладающий наибольшей степенью воображения, вместе с тем может почитаться и наиболее умным и даровитым, так как все эти слова представляют собой синонимы. Я еще раз повторю, что только благодаря постыдному злоупотреблению можно считать, что говоришь о разных вещах на том основании, что для их обозначения употребляешь различные слова или звуки, за которыми не скрывается никакой идеи или действительного различия.

Для преуспевания как в науках, так и в искусствах нужно, следовательно, обладать и самым прекрасным, возвышенным и сильным воображением. Я не берусь решать, нужно ли обладать большим умом для того, чтобы подвизаться в искусстве Аристотелей и Декартов, чем

в искусстве Еврипидов и Софоклов, и больше ли материала понадобилось природе для создания Ньютона, чем для создания Корнеля (в чем я сильно сомневаюсь), но несомненно, что к столь разным триумфам и к бессмертной славе привело их различное применение воображения.

Когда о ком-нибудь говорят, что у него недостаток рассудка при сильно развитом воображении, то это значит, что воображение, слишком предоставленное самому себе и почти всегда занятое созерцанием себя в зеркале собственных ощущений, недостаточно усвоило себе привычку исследовать их с надлежащим вниманием, что оно проникнуто гораздо глубже впечатлениями и образами, чем их истинностью или сходством.

Несомненно, деятельность воображения отличается такой живостью, что, если не вмещивается внимание — этот ключ и источник всех наук, оно ограничивается беглым и поверхностным взглядом на предметы.

Взгляните на птицу, сидящую на ветке: кажется, что вот-вот она вспорхнет. Таково же и воображение. Постоянно увлекаемое вихрем крови и животных духов, оно не успевает сохранять впечатление, тотчас же изглаживаемое последующим; душа следует за ним, часто не поспевая. Потерянным для нее оказывается то, что она недостаточно быстро схватила и усвоила эти впечатления. Таким именно образом воображение, настоящий символ времени, непрерывно само себя уничтожает и восстанавливает.

Таковы хаос и непрерывная, быстрая смена и последовательность наших идей; они гонят друг друга, подобно волнам, сменяющим одна другую, так что, если воображение не употребит, так сказать, части своих мускулов для сохранения равновесия на канатах мозга с целью задержаться на некоторое время на как бы ускользающем предмете и отстранить от себя другой, для рассмотрения которого не пришло еще время, оно не будет заслуживать прекрасного имени суждения. Оно сможет ярко выражать то, что само почувствовало; оно будет создавать ораторов, музыкантов, художников и поэтов, но никогда оно не создаст ни одного философа. Напротив, если с детства приучить воображение к самообузданию, не давая ему уноситься на своих сильных крыльях (что воспитывает только блестящих энтузиастов); если приучить его останавливать и задерживать представления, чтобы всесторонне исследовать предмет, то воображение, способное к составлению суждений, при помощи последних сумеет охватить наибольшее количество предметов. Живость

воображения, которая всегда является положительным качеством у детей и которую следует лишь регулировать при помощи обучения и упражнения, превратится тогда в дальновидную проницательность, без которой не возможен никакой прогресс в науках.

Таковы простые основания, на которых построено все здание логики. Природа дала их всему роду человеческому, но одни сумели использовать их, тогда как другие — только злоупотребить ими.

Несмотря на все эти преимущества человека по сравнению с животными, ему может сделать только честь помещение его в один и тот же класс с ними. Ибо несомненно, что до известного возраста он в большей степени животное, чем они, так как при рождении приносит с собой на свет меньше инстинкта.

Какое животное умерло бы с голоду посреди молочных рек? Только человек. Подобно старому ребенку, о котором вслед за Арнобием говорит один из современников, он не знает ни пригодной ему пищи, ни воды, в которой может утонуть, ни огня, могущего превратить его в пепел. Зажгите впервые свечу перед глазами ребенка, и он машинально поднесет к огню палец, чтобы познать характер нового явления; обжегшись, он познает опасность и другой раз уже не попадетсся.

Или поставьте ребенка рядом с животным на краю пропасти: ребенок упадет туда и утонет там, где животное спасется вплавь. В четырнадцать-пятнадцать лет он едва предвидит наслаждения, ожидающие его при воспроизведении собственного вида; будучи уже юношей, он не знает, как ему держать себя в игре, которой природа так быстро научает животных; он прячется, как бы стыдясь полученного наслаждения и того, что рожден быть счастливым, между тем как животные гордятся своим цинизмом. Не получая воспитания, животные не имеют и предрассудков. Или посмотрите на собаку и ребенка, равно потерявших своего хозяина на большой дороге: ребенок плачет, не зная, какому святому молиться, тогда как собака найдет хозяина очень скоро, лучше используя свое обоняние, чем ребенок свой разум.

Итак, природа предназначила нам стоять ниже животных, чтобы тем самым особенно наглядно обнаружить чудеса, какие способно делать воспитание, которое одно поднимает нас над их уровнем и в конце концов дает нам превосходство над ними.

Но можно ли признать такого рода отличие от животных



за глухими, слепорожденными, идиотами, сумасшедшими дикарями или людьми, воспитанными в лесах вместе с животными, — за всеми теми, у кого ипохондрия уничтожила воображение; наконец, за всеми скотами в человеческом образе, обнаруживающими один только самый грубый, голый инстинкт? Нет, все это — люди по плоти, но не по духу, которые не заслуживают зачисления в особый класс.

Мы вовсе не намерены замалчивать все те возражения, которые можно сделать против нас и в пользу существования первоначального отличия человека от животного. Говорят, что человеку присущ естественный закон: умение распознавать добро и зло, которое чуждо животным.

Но основано ли это возражение или, правильное, утверждение на опыте, без которого философ вправе все отвергать? Существует ли опыт, убеждающий нас в том, что только человек просвещен светом разума, в котором отказано всем другим животным? Если такого опыта нет, мы не можем знать, что происходит внутри животных и даже других людей; мы можем чувствовать только то, что волнует нас самих. Мы знаем, что мы мыслим и испытываем угрызения совести: нас в этом достаточно убеждает наше внутреннее чувство; но этого нашего внутреннего чувства недостаточно, чтобы судить об угрызениях совести других людей; поэтому нам приходится верить другим людям на слово или полагаться на внешние видимые знаки, какие мы наблюдаем у нас самих, испытывая подобные же угрызения совести и подобные же мучения.

Для того чтобы решить, имеет ли силу упомянутый естественный закон для неговорящих животных, приходится, следовательно, обратиться к только что упомянутым знакам, предполагая, что таковые существуют. Факты, по видимому, доказывают последнее. Собака, укусившая раздраженного ее хозяина, в следующий затем момент обнаруживает признаки раскаяния: ее вид говорит об огорчении и досаде, она не смеет показаться ему на глаза и признается в своей вине заискивающим и униженным видом. Из истории мы знаем известный случай со львом, не захотевшим растерзать предоставленного его ярости человека, в котором он признал своего благодетеля. Следует только пожелать, чтобы человек всегда чувствовал такую же благодарность за добро и обнаруживал такое же уважение к другим людям; тогда не пришлось бы опасаться ни неблагодарности, ни войн — этих бичей рода человеческого и настоящих палачей естественного закона.

Но живое существо, которое с раннего возраста наделено природой столь разумным инстинктом и которое способно рассуждать, комбинировать, размышлять, обсуждать, поскольку это допускают размеры и сферы его деятельности; существо, которое испытывает привязанность благодаря оказываемым ему благодеяниям и теряет ее вследствие дурного с ним обращения, пытаюсь найти себе другого хозяина; существо со строением и поступками, похожими на наши, испытывающее подобные нашим страсти, горести и наслаждения, более или менее бурные в зависимости от силы своего воображения и чувствительности своих нервов, — разве не обнаруживает ясно такое существо способность чувствовать свою и нашу вину, различать добро и зло, словом, разве, чувствуя ответственность за свои поступки, оно не обладает совестью? Его душа, испытывающая те же радость, унижение, смущение, как и наша, разве может не почувствовать отвращение при виде растерываемого на его глазах или безжалостно растерзанного им самим подобного ему существа? Допустив это, нельзя уже отказывать животным в драгоценном даре, о котором идет речь, ибо если они обнаруживают очевидные признаки раскаяния и ума, то нет ничего целеного в мысли, что эти существа — почти столь же совершенные машины, как и мы, — созданы, подобно нам, для того, чтобы мыслить и чувствовать природу.

Пусть мне не возражают, что большинство животных принадлежит к диким породам, не способным чувствовать причиняемое ими зло, ибо и среди людей далеко не все хорошо умеют отличать пороки от добродетелей. Нашей природе, как и их природе, присущ элемент дикости. Люди, имеющие варварскую привычку нарушать естественный закон, не столь мучаются от этого, как те, которые преступают его впервые и которых сила примера еще не приучила к этому. С животными происходит то же самое, что и с людьми: и те и другие в зависимости от темперамента могут быть более или менее жестокими; и те и другие становятся более жестокими под влиянием дурного примера. Но кроткое животное, живущее с другими подобными ему животными и питающееся менее грубой или мягкой пищей, становится врагом крови и кровопролития; оно будет испытывать стыд, если прольет кровь, с тою только, может быть, разницей, что так как все у животных приносится в жертву потребностям, наслаждениям и удобствам жизни, которыми они умеют пользоваться лучше нас, то угрызения совести у них не должны быть столь сильны, как наши,

потому что мы не испытываем таких сильных потребностей, как они. Обычай смягчает и, может быть, так же заглушает угрызения совести, как заглушают их и наслаждения.

Допустим, однако, на минуту, что я ошибаюсь. Допустим, что неверно мое предположение о том, что почти весь мир не прав в этом вопросе, тогда как один я прав. Я готов допустить, что животные, даже самые выдающиеся по уму, не умеют отличать нравственно хорошего и не помнят оказанного им внимания и сделанного им добра, что в них нет сознания собственных добродетелей. Не будем вспоминать льва, о котором я говорил выше, что он пощадил жизнь человека, отданного ему на растерзание ради зрелища более жестокого, чем все львы, тигры и медведи, однако ведь и представители нашей породы борются друг с другом (швейцарцы со швейцарцами, братья с братьями), набрасываются друг на друга и сознательно убивают друг друга без угрызений совести, потому что государь оплачивает эти убийства; я готов даже предположить, что животным не присущ естественный закон. Какие же выводы следует сделать из всех этих предположений?

Человек создан не из какой-то более драгоценной глины, чем животные. Природа употребила одно и то же тесто как для него, так и для других, разнообразия только дрожжи. Итак, если животное не испытывает раскаяния от того, что посягнуло на то внутреннее чувство, о котором я выше говорил, или, вернее, если оно совершенно лишено последнего, то из этого логически вытекает, что в такой же степени это относится и к человеку. Но если это так, то какая может быть речь о естественном законе и какую цену имеют все написанные о нем прекрасные сочинения? Все животное царство вообще лишено его. Но если, наоборот, человек не может отказаться от присущего ему, если он в здравом уме, умения отличать честных, гуманных и добродетельных людей от нечестных, негуманных и недобродетельных; если легко отличить порок от добродетели вследствие наслаждения или отвращения, вызываемого их естественными последствиями, то отсюда следует, что и животные, которые созданы из той же материи и которым, может быть, недостает только немного закваски, чтобы во всех отношениях сравняться с человеком, должны обладать всеми свойствами, присущими миру животных организмов, и что, следовательно, нет души, или чувствующей субстанции, которая не испытывала бы угрызений совести. Нижеследующее рассуждение может подтвердить сказанное.

Естественный закон не может быть искоренен. Влияние его настолько сильно у всех животных, что я нисколько не сомневаюсь, что самые дикие и хищные из животных испытывают минуты раскаяния. Мне кажется, что дикая девушка из Шалона в Шампани — если верно, что она съела свою сестру, — не могла не сознавать тяжести своего преступления. То же самое я думаю о всех, чьи преступления совершены невольно или под влиянием темперамента, например о Гастоне из Орлеана, который не мог удержаться от того, чтобы не воровать; о женщине, подверженной во время беременности этому же пороку, который унаследовали от нее дети; о другой женщине, которая в подобном же состоянии съела своего мужа; о той, которая резала детей, солила их тела и ела их каждый день, как солонину; о дочери вора-людоеда, ставшей тоже людоедкой в двенадцатилетнем возрасте, хотя она лишилась отца и матери на втором году жизни и была воспитана порядочными людьми; я не говорю о бесчисленных других случаях, во множестве встречающихся в отчетах наших ученых. Все эти случаи доказывают нам, что существует огромное множество наследственных пороков и добродетелей, переходящих от родителей к детям и от кормилиц к их питомцам. Впрочем, я согласен с тем, что в большинстве случаев эти несчастные не всегда чувствуют тотчас же весь ужас своих поступков. Например, булимия, или волчий голод, способна заглушить всякое чувство: это — своеобразное бешенство желудка, которое должно быть удовлетворено во что бы то ни стало. Но, придя в себя и как бы протрезвившись, эти женщины при воспоминании о совершенном ими убийстве самых дорогих им существ испытывают величайшие угрызения совести. Какое страшное наказание несут они за невольное преступление, которому они не в состоянии были противиться и которое они бессознательно совершили! А между тем это не всегда очевидно для судей: одна из женщин, о которых я говорю, была колесована и сожжена, другая — закопана живьем. Я прекрасно понимаю требования общественного интереса. Но, без сомнения, следовало бы пожелать, чтобы в качестве судей были только выдающиеся врачи. Лишь последние сумеют отличить невинного от виновного. Если разум становится рабом извращенного чувства или бешенства, как же он может управлять человеком?

Но если преступление само влечет за собой свое собственное более или менее суровое наказание; если даже самая продолжительная, самая закоренелая привычка не

может окончательно заглушить раскаяния у бессердечных душ; если они разрываются на части при одном только воспоминании о своих поступках, то к чему пугать воображение слабых умов адом, страшными призраками и огненными пропастями, еще менее реальными, чем пропасть Паскаля \*? Надо ли прибегать к подобного рода басням, по признанию одного откровенного папы, чтобы мучить несчастных, которых собираются казнить? Неужели их первый палач — их собственная совесть не является для них достаточным наказанием? Я вовсе не хочу этим сказать, что все преступники караются несправедливо; я утверждаю только, что те, воля которых извращена, получают достаточное наказание в виде угрызений совести, когда приходят в себя; от этих угрызений совести, я решаюсь это сказать, природа, как мне кажется, должна была бы избавлять несчастных, вовлеченных в преступление в силу роковой необходимости.

Преступники, злодеи, неблагодарные люди, наконец, бесчувственные к требованиям природы, жалкие, недостойные жизни тираны могут испытывать сладострастное чувство от своего варварства; но наступают спокойные минуты размышления, когда поднимает свой голос мстительная совесть, выступающая против них и осуждающая их на почти непрерывные мучения. Тот, кто мучает людей, мучит самого себя; страдания, испытываемые им, являются справедливой мерой воздействия за причиненные им страдания.

С другой стороны, какая радость делать добро, а также быть благодарным за добро, сделанное тебе другими; какое наслаждение проявлять добродетель и быть кротким, гуманным, нежным, милосердным, сострадательным и благородным (это последнее слово включает в себе все добродетели)! Это дает такое удовлетворение, что я считаю уже достаточно наказанным того, кто имел несчастье родиться недобродетельным <sup>19</sup>

---

\* В обществе или за столом Паскалю всегда была необходима загородка из стульев или сосед слева, чтобы не видеть страшной пропасти, в которую он боялся упасть, хотя знал цену подобным иллюзиям. Паскаль может служить поразительным примером действия воображения или усиленного кровообращения в одном только мозговом полушарии. В его лице мы видим, с одной стороны, гениального человека, с другой — полусумасшедшего. Безумие и мудрость, обе имели в его мозгу свои отделения, или свои области, отделенные друг от друга так называемой косой. (Интересно бы знать, которым из этих отделений тянулся он так сильно к господам из Пор-Рояля?) Я вычитал этот факт в «Трактате о головокружении» де Ламетри.

Мы не рождаемся на свет учеными. Мы становимся ими благодаря известного рода злоупотреблению нашими органическими способностями, и притом в ущерб интересам государства, кормящего множество тунеядцев, которых тщеславие наградило именем *философов*. Природа создала всех нас исключительно для счастья; да, всех, начиная от червя, ползущего по земле, и кончая орлом, парящим в облаках. Поэтому она и наделила всех животных в большей или меньшей степени естественным законом в зависимости от того, насколько это допускает приспособленность к нему органов каждого животного.

Как определить, что такое естественный закон? Это — чувство, научающее нас тому, чего мы не должны делать, если не хотим, чтобы нам делали то же. Мне кажется, что к этому общему определению следует прибавить, что это чувство есть особого рода страх или боязнь, столь же спасительные для целого вида, как и для индивидуума. Ибо мы уважаем кошелек и жизнь других, может быть, только для того, чтобы сохранить свое собственное имущество, свою честь и себя самих, подобно тем Иксионам<sup>20</sup> христианства, которые любят бога и стремятся усвоить множество химерических добродетелей исключительно из страха перед адом.

Вы видите, таким образом, что естественный закон является лишь внутренним чувством, относящимся, подобно всем другим чувствам, в том числе и мысли, к области воображения. Следовательно, его наличие не требует, очевидно, ни воспитания, ни откровения, ни законодателя, если не смешивать его с гражданскими законами, как это абсурдно делают богословы.

Оружием фанатизма можно уничтожить тех, кто отстаивает эти истины, но ему никогда не уничтожить самые эти истины.

Это не значит, что я подвергаю сомнению существование высшего существа; мне кажется, наоборот, что его существование является в высшей степени вероятным. Но так как это существование нисколько не доказывает, что данный культ более необходим, чем любой другой, признание его представляет собой теоретическую истину, не имеющую никакого применения на практике. Поэтому, если на основании большого опыта можно утверждать, что религиозность не предполагает непременно абсолютной честности, то те же самые доводы позволяют думать, что и атеизм не непременно исключает ее.

Кто знает, впрочем, не заключается ли смысл существо-

вания человека именно в самом факте его существования. Возможно, что он брошен случайно на ту или другую точку земной поверхности — неизвестно, каким образом и для чего. Известно только, что он должен жить и умереть, подобно грибам, появляющимся на свет на один день, или цветам, окаймляющим канавы и покрывающим стены.

Не будем теряться в бесконечности: нам не дано составить себе о ней ни малейшего понятия. Для нашего спокойствия, впрочем, совершенно безразлично, вечно ли существует материя, или она сотворена, есть ли бог, или его нет. Безумием было бы мучиться над тем, что невозможно узнать и что не в состоянии сделать нас более счастливыми, даже если бы мы достигли этой цели.

Но — могут мне возразить — прочтите труды Фенелона, Ниейвентита, Аббади, Дергэма, Раиса и других. И что ж? Чему они могут научить, чему они научили меня? Все это только скучные повторения благочестивых писателей, из которых один болтливее другого, способные скорее укрепить, чем подорвать, основы атеизма. Масса доказательств, извлекаемых ими из наблюдений природы, не придает силы их аргументам. Строение одного только пальца, уха или глаза, *одно наблюдение Мальпиги*<sup>21</sup> доказывают все, что нужно, и, без сомнения, лучше, чем *Декарт и Мальбранш*; все же остальные ровно ничего не доказывают. Деистов и даже христиан должны были бы поэтому удовлетворить наблюдения, которые обнаруживают, что во всем животном царстве одни и те же цели осуществляются бесконечным количеством разнообразных средств, но всегда геометрически точно. Может ли существовать более сильное оружие для ниспровержения атеистов? Действительно, если мой разум меня не обманывает, человек и вся Вселенная, по-видимому, предназначены осуществлять это единство целей. Солнце, воздух, вода, строение и форма тела — все это, как в зеркале, находит свое место в глазу, точно передающем воображению отражающиеся в нем предметы по законам, обусловленным бесконечным разнообразием тел, попадающих в поле нашего зрения. В строении уха мы видим поразительное разнообразие, хотя различное устройство его у человека, животных, птиц и рыб и не влечет за собою различного применения этого органа. Все уши устроены с такой математической точностью, что они одинаково служат одной и той же цели, а именно тому, чтобы слышать.

Может ли, спрашивает деист, случайность быть настолько великим геометром, чтобы таким образом, по

своему произволу, варьировать произведения, творцом которых ее считают и чтобы при этом подобное разнообразие не препятствовало достижению единой цели? В качестве возражения он указывает также на содержащиеся в животных формы, которые будут использованы в будущем: на бабочку в гусенице, на человека в сперматозоиде, на целого полипа в каждой из его частей, на легкое в зародыше, на зубы в их луночках, на кости в жидкости, непонятным образом выделяющейся и затвердевающей. И сторонники этого направления, не пренебрегая ничем, что может содействовать его подтверждению, не устают нагромождать доказательство на доказательство, стараясь использовать все, даже в некоторых случаях область нашего разума. Посмотрите, говорят они, на Спинозу, Ванини, Дебарро и Буандена<sup>22</sup> — на этих апостолов, которые могут свидетельствовать скорее в пользу, чем во вред, деизму. Состояние их здоровья было мерой их неверия. И в самом деле, добавляют они, редко бывает, чтобы отречение от атеизма происходило прежде, чем страсти ослабели вместе с телом, представляющим собой их орудие.

Вот, безусловно, все, что можно сказать в пользу существования бога, хотя последний аргумент не является серьезным, так как подобные обращения имеют кратковременный характер и ум почти всегда снова возвращается к прежним взглядам и делает из них логические выводы, как только вместе с выздоровлением он обретает или, вернее, вновь находит силы. На это же в сущности указывает врач Дидро в своих «Философских мыслях» — отличном произведении, которое, однако, не убедит ни одного атеиста. Что, в самом деле, можно ответить человеку, который говорит: «Мы совсем не знаем природы. Возможно, что скрытые в ее лоне причины создали все на свете. Посмотрите на полипа Трамбле: разве не в нем самом заложены причины его регенерации? Что же в таком случае абсурдного в мысли, что существуют физические причины, которыми все порождено, с которыми настолько связана и которым настолько подчинена вся цель обширной Вселенной, что ничто из того, что происходит, не могло бы не произойти. Только абсолютно непреодолимое незнание этих причин заставляет нас прибегать к богу, который, согласно мнению некоторых, не является даже *чем-то таким, что может мыслиться разумом*. Поэтому тот, кто отрицает случайность, еще не доказал существования высшего существа, ибо еще может существовать нечто



третье, что не есть ни случайность, ни бог; я имею в виду природу, изучение которой будет неизбежно создавать неверующих людей, как это доказывает образ мыслей самых удачных ее исследователей».

*Вселенная всей своей массой* не может, следовательно, поколебать — тем менее *раздавить* — ни одного действительного атеиста; все тысячи раз приводившиеся в качестве доказательств доводы за существование творца, которые недоступны нашему уму, могут показаться убедительными только для антипирронианцев или для тех, кто настолько доверяет своему разуму, что решается судить на основании некоторых видимых признаков, которым, как вы знаете, атеисты могут противопоставить столь же убедительные и прямо противоположные аргументы.

В самом деле, если мы обратимся к натуралистам, они скажут нам, что те же самые причины, которые в руках химика благодаря случайному образованию различных смесей произвели первое зеркало, в руках природы создали ручей, служащий зеркалом для простодушной пастушки; что сила движения, сохраняющая мир, могла его создать; что всякое тело занимает место, отведенное ему природой; что воздух должен окружать Землю вследствие тех же причин, в силу которых железо и другие металлы представляют собой продукт ее недр. Они скажут, что солнце столь же естественное произведение природы, как электричество; что оно вовсе не создано исключительно для того, чтобы согревать Землю и ее обитателей; оно иногда обжигает их, подобно тому как дождь, созданный вовсе не для того, чтобы содействовать прорастанию зерна, часто губит последнее; что зеркало и ручей не в большей мере сделаны для того, чтобы в них смотреться, чем все гладкие тела, имеющие одинаковое с ними свойство; что глаз, правда, является своего рода зеркалом, в котором душа может созерцать изображение предметов так, как они представляются ей при его помощи, но не доказано, что этот орган создан как раз именно для такого рода созерцания и специально помещен для этого в глазной впадине; что, возможно, правы Лукреций, врач Лами и все древние и современные эпикурейцы, утверждая, что глаз видит только потому, что он устроен и помещен определенным образом, и что если допустить существование одних и тех же законов движения, которым следует природа при создании и развитии всех тел, то невозможно, чтобы этот чудесный орган был устроен и помещен иначе.

Вот за и против, краткое резюме главных аргументов,

которые вечно будут разделять философов. Я в этом споре не становлюсь ни на чью сторону.

*Non nostrum inter vos tantas componere lites.* <sup>23</sup>

Вот что я сказал одному из моих друзей, французу, столь же откровенному пирронисту, как и я, человеку с большими заслугами и достойному лучшей участи. Он ответил мне на это в высшей степени странным образом. Действительно, сказал он мне, все за и все против совсем не должны смущать душу философа, видящего, что ничто не доказано с такой несомненностью, чтобы принудить его к согласию, и что идеи, выдвигаемые одной стороной, тотчас же опровергаются идеями, исходящими от другой. И все же, продолжал он, человечество не будет счастливо до тех пор, пока не станет атеистичным.

Вот каковы были доводы этого «ужасного» человека. Если бы, говорил он, атеизм получил всеобщее распространение, то тогда все виды религии были бы уничтожены и подрезаны в корне. Прекратились бы религиозные войны, и перестало бы существовать ужасное религиозное воинство; природа, зараженная ныне религиозным ядом, вновь вернула бы себе свои права и свою чистоту; глухие ко всяким другим голосам, умиротворенные смертные следовали бы только свободным велениям собственной личности — велениям, которыми нельзя безнаказанно пренебрегать и которые одни только могут нас вести к счастью по приятной стезе добродетели <sup>24</sup>

Таков естественный закон. Тот, кто его соблюдает, является честным человеком, заслуживающим доверия всего рода человеческого. Тот же, кто не следует ему добросовестно, как бы ревностно он ни исполнял предписания любой религии, есть негодяй или лицемер, которому я не верю.

После этого пусть чернь думает иначе. Пусть решается утверждать, что не верить в откровение — значит быть нечестным; словом, что нужна какая-нибудь иная религия, но только не религия природы. Какое убожество, какое ничтожество мысли! И что за представление внушает нам каждый об исповедуемой им религии! Но мы не гонимся за одобрением черни. Тот, кто воздвигает в своем сердце алтари суеверию, рожден для поклонения идолам, а не для понимания добродетели.

Но если все способности души настолько зависят от особой организации мозга и всего тела, что в сущности они представляют собой не что иное, как результат этой

организации, то человека можно считать весьма просвещенной машиной! Ибо в конце концов, если бы даже человек один был наделен естественным законом, перестал бы он от этого быть машиной? Несколько больше колес и пружин, чем у самых совершенных животных, мозг, сравнительно ближе расположенный к сердцу и вследствие этого получающий больший приток крови, — и что еще? Неизвестные причины порождают это столь легко уязвимое сознание, эти угрызения совести, не в меньшей степени чуждые материи, чем мысль, — словом, все предполагаемое различие между человеком и животным. Но достаточно ли объясняет все эта организация указанных органов? Еще раз — да: если мысль явным образом развивается вместе с органами, то почему же материи, из которой последние сделаны, не быть восприимчивой к угрызениям совести, раз она приобрела способность чувствовать <sup>25</sup>.

Итак, душа — это лишенный содержания термин, за которым не кроется никакой идеи и которым здравый ум может пользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит. При наличии в них простейшего начала движения одушевленные тела должны обладать всем, что им необходимо для того, чтобы двигаться, чувствовать, мыслить, раскаиваться — словом, проявлять себя как в области физической, так и в зависящей от нее моральной.

Мы ничего не утверждаем на основании простых предположений; пусть тот, кто считает, что еще не все затруднения устранены, обратится к опыту, который должен вполне его удовлетворить.

1. Тела всех животных продолжают после смерти трепетать, и тем дольше, чем более холодна кровь у животного и чем меньше оно выделяет пот. Примером могут служить черепахи, ящерицы, змеи и т. д.

2. Мускулы, отделенные от тела, сокращаются при уколе.

3. Внутренности долгое время сохраняют свое перистальтическое, или червеобразное, движение <sup>26</sup>.

4. Согласно Коуперу, простая инъекция горячей воды оживляет сердце и мускулы <sup>27</sup>

5. Сердце лягушки, положенное на солнце или, еще лучше, на стол, на горячую тарелку, продолжает биться в течение часа и более после того, как его вырезали из тела. Но вот, по-видимому, движение окончательно прекратилось; однако достаточно только сделать укол в сердце, и этот безжизненный мускул начинает биться. Гарвей то же самое наблюдал у жаб <sup>28</sup>.

6. В своем сочинении «*Sylva sylvarum*» Бэкон Веруламский рассказывает об одном человеке, осужденном за измену, которого вскрыли заживо и сердце которого, брошенное в горячую воду, несколько раз подпрыгивало вверх, сперва на высоту двух футов, а потом все ниже и ниже.

7. Возьмите цыпленка, еще не вылупившегося из яйца, вырвите у него сердце, и вы будете наблюдать те же самые явления при аналогичных обстоятельствах. Теплота дыхания оживляет уже погибающее под безвоздушным колоколом животное.

Подобные же опыты, которыми мы обязаны Бойлю и Стенону, были произведены над голубями, собаками и кроликами, части сердца которых продолжали биться, как целое. Такие же движения наблюдались в отрезанных лапах крота.

8. Те же самые явления можно наблюдать у гусеницы, червей, паука, мухи и угря, а именно: движение отрезанных частей усиливается в горячей воде благодаря содержащейся в ней теплоте.

9. Один пьяный солдат ударом сабли отрезал голову индийскому петуху. Петух остался стоять на ногах, потом зашагал и пустился бежать; натолкнувшись на стену, он повернулся, захлопал крыльями, продолжая бежать, и наконец упал. Мускулы его, когда он уже лежал на земле, продолжали еще двигаться. Все это я сам видел; почти такие же самые явления можно наблюдать у котят или щенят с отнятой головой.

10. Разрезанные на части полипы не только продолжают двигаться — в течение недели они размножаются в количестве, равном числу отрезанных частей. Этот факт заставил меня огорчиться за теорию натуралистов относительно размножения; впрочем, это открытие надо скорее приветствовать, так как оно побуждает нас не делать никаких обобщений, даже на основании самых общеизвестных и убедительных опытов.

Я привел больше, чем нужно, фактов для бесспорного доказательства того, что любое волокно, любая частица организованного тела движутся в силу свойственного им самим начала и что такого рода движения совсем не зависят от нервов, как это бывает в движениях произвольных, так как производящие указанного рода движения частицы не связаны нисколько с кровообращением. Но если подобное свойство обнаруживается даже у частей волокон, то оно должно иметься и у сердца, составленного из своеобразно

переплетающихся волокон. Для того чтобы убедиться в этом, мне не нужно было истории, рассказанной Бэконом. Мне легко было судить об этом на основании полной аналогии строения сердца у человека и у животных и даже только на основании массы человеческого сердца, в котором эти движения не видны простым глазом только потому, что они там заглушены; наконец, на основании того, что у трупа все части холодеют и тяжелеют. Если бы диссекция производилась на еще теплых трупах казненных преступников, то в их сердцах можно было бы наблюдать те же самые движения, какие можно наблюдать в мускулах лица обезглавленных людей.

Движущее начало целых тел или их частей таково, что оно вызывает не беспорядочные, как раньше думали, но совершенно правильные движения; и это имеет место как у теплокровных и совершенных, так и у хладнокровных и несовершенных животных. Нашим противникам не остается ничего иного, как отрицать тысячи фактов, в которых всякому легко удостовериться.

Если меня спросят теперь, где пребывает эта врожденная нашему телу сила, то я отвечу, что, по-видимому, она находится в том месте, которое древние называли *паренхимой*, т. е. в самой субстанции частей тела независимо от вен, артерий и нервов, словом, всей организации ее. Из этого следует, что любая частица ее заключает в себе более или менее выраженную способность к движению в зависимости от потребности, которую она в нем имеет.

Остановимся подробнее на этих пружинах человеческой машины. Все жизненные, свойственные животным, естественные и автоматические движения происходят благодаря их действию. Действительно, тело машинально содрогается, пораженное ужасом при виде неожиданной пропасти; веки, как я уже говорил, опускаются под угрозой удара; зрачок суживается при свете в целях сохранения сетчатой оболочки и расширяется, чтобы лучше видеть предметы в темноте; поры кожи машинально закрываются зимой, чтобы холод не проникал во внутренность сосудов; нормальные функции желудка нарушаются под влиянием яда, известной дозы опиума или рвотного; сердце, артерии и мускулы сокращаются во время сна, как и во время бодрствования; легкие выполняют роль постоянно действующих мехов. И разве не механически происходит сокращение мышц мочевого пузыря, прямой кишки и т. п. или более сильное, чем у других мускулов, сокращение сердца? Так же механически эрекционные мускулы поднимают половой

член у человека, как и у животных, бьющих себя им по животу, и даже у ребенка, способного к эрекции при раздражении этой части тела; между прочим, это доказывает, что в этом органе есть своеобразное, еще мало известное свойство, производящее действия, пока еще не вполне объяснимые, несмотря на все успехи анатомии.

Я не буду больше распространяться о всех этих второстепенных и всем известных силах человеческого тела. Но существует еще одна, более тонкая и замечательная сила, одушевляющая все другие; она является источником всех наших чувств, всех наших наслаждений, страстей и мыслей, ибо у мозга так же существуют мышцы для того, чтобы мыслить, как существуют у человека ноги для того, чтобы ходить. Я имею в виду то возбуждающее, импульсивное начало, которое Гиппократ называет *ἐνὸρμον*<sup>29</sup>. Это начало существует и находится в мозгу, у корня нервов, при помощи которых оно проявляет свою власть над всем остальным телом. Им объясняется все, что только может быть объяснено, вплоть до самых паразитических болезней воображения.

Но чтобы не наскучить читателю избытком подробностей в трудно понимаемой области, мне придется ограничиться небольшим числом вопросов и соображений.

Почему вид красивой женщины или даже только мысль о ней вызывает в нас своеобразные движения и желания? Вытекает ли то, что происходит в этом случае в известных органах, из самой их природы? Нисколько: эти явления происходят вследствие взаимоотношения и особого рода связи этих мускулов с воображением. Мы имеем налицо только влияние на определенную мышцу того, что древние называли *bene placitum*<sup>30</sup>, или образом красоты; это возбуждение передается другой мышце, пребывавшей в состоянии сна в момент, когда ее побудило воображение. И чем иным, как не расстройством и бунтом крови и животных духов, следует объяснить их чрезмерно быстрое движение, вызывающее набухание кавернозных тел?

Так как между матерью и ребенком существует несомненная связь\* и так как трудно отрицать факты, приводимые Тульпиусом и другими столь же достойными доверия писателями, то мы должны признать, что плод воспринимает пылкость материнского воображения точно так же, как мягкий воск воспринимает всякого рода

---

\* По крайней мере — связь сосудов. Достоверно ли известно, что не существует связи между их нервными системами?

отпечатки, и что приметы и родимые пятна матери, что бы ни говорил Блондель и его сторонники, передаются непонятным образом ее плоду<sup>31</sup> Мы должны в данном случае восстановить честь Мальбранша, над доверчивостью которого так насмехались писатели, недостаточно наблюдавшие природу и желавшие навязать ей свои предвзятые идеи.

Взгляните на портрет знаменитого Попа, этого английского Вольтера. На его лице запечатлены напряжение и сила его ума: оно все в конвульсиях, глаза выступают из орбит, брови поднимаются вместе с мышцами лба. Почему? Потому что нервы его работают, и все тело должно испытывать нечто вроде тяжелых родов. Чем можно было бы объяснить все эти явления, как не существованием у человека внутренней струны, натягивающей его внешние струны? Допускать для объяснения этого существование души значило бы прибегать к содействию *святого духа*.

В самом деле, если то, что мыслит в моем мозгу, не составляет его части, т. е. части всего тела, то почему же, когда я, спокойно лежа в постели, разрабатываю план какого-нибудь сочинения или занимаюсь абстрактными размышлениями, моя кровь начинает нагреваться и волнение моего духа переходит в мои вены? Спросите об этом у людей, одаренных воображением, у великих поэтов, у тех, кого захватывает сильное чувство, кто чем-нибудь восторгается, кого увлекают прелести природы, истины или добродетели; по их энтузиазму, по их рассказам о своих ощущениях — словом, по последствиям вы сможете судить о причинах. По этой гармонии, которую Борелли или любой анатом понимает лучше, чем все вместе взятые последователи Лейбница, вы можете познать материальное единство человека. Ибо в конце концов, если вызывающее страдание нервное напряжение причиняет лихорадку, от которой мутится ум и слабеет воля, и если чрезмерно напрягаемый ум в свою очередь неожиданно приводит в расстройство тело и воспламеняет в нем пожирающий огонь, унесший в могилу Бейля далеко не в преклонном возрасте, если определенное щекотание нервов заставляет меня желать и страстно стремиться к тому, о чем я совершенно не думал за минуту перед тем, если в свою очередь некоторые мозговые впечатления вызывают подобное щекотание и подобные желания, — то к чему считать за две вещи то, что, очевидно, является одним и тем же? Совершенно напрасно ссылаются на власть воли. За один изданный ею приказ она сотни раз платится игом. И что удивительного

в том, что тело повинуется ей в здоровом состоянии, раз поток крови и животных духов принуждает его к этому; в распоряжении воли находится легион незримых флюидов, более быстрых, чем молния, и всегда готовых служить ей. Но в такой же мере, как власть воли действует при помощи нервов, она и прекращается благодаря им. Разве в состоянии возвратит истощенному любовнику его утраченную силу вся его воля и самые сильные его желания? Увы, нет. И эта воля в первую очередь окажется наказанной, так как при некоторых условиях она не в состоянии не желать наслаждения. Здесь повторяется то, что я говорил уже о параличе.

Вас удивляют явления желтухи? Но ведь вы знаете, что цвет тел зависит от цвета стекол, через которые вы их рассматриваете. И вы не можете не знать, что, какова окраска жидкостей глаза, такова же и окраска предметов, по крайней мере в их отношении к нам, постоянным жертвам множества иллюзий. Но отнимите эту окраску у водянистой жидкости глаза, представьте желчи течь через свое естественное сито, и тогда душа, получив другие глаза, перестанет видеть все в желтом цвете. Не то же ли самое происходит, когда, удаляя катаракту или делая инъекцию в евстахиеву трубу, мы возвращаем слепым зрение и глухим слух? Сколько людей, которые, вероятно, были просто искусными шарлатанами, прослыли в эпохи невежества за великих чудотворцев! Что сказать про душу и волю, настроение которых изменяется вместе с возрастом и лихорадкой и которые могут действовать только постольку, поскольку им позволяет здоровье тела?! Надо ли удивляться, что философы, стремясь к сохранению душевного здоровья, всегда принимали во внимание телесное здоровье, что Пифагор так старательно предписывал диету, а Платон запрещал употребление вина?! Разумные врачи всегда утверждали, что для образования ума и познания истины и добродетели прежде всего необходим соответственный режим для тела; при расстроенном здоровье вышеприведенные качества являются пустым звуком. Без правил гигиены Эпиктет, Сократ, Платон и другие проповедовали бы впустую: всякая мораль будет бесплодной для того, кто не знает воздержания; воздержание — источник всех добродетелей, а невоздержанность — источник всех пороков.

Надо ли прибавлять еще что-нибудь к сказанному (и надо ли углубляться в историю страстей, которые все без исключения объясняет *ἑνώριον* Гиппократ), чтобы доказать, что человек не больше как животное или совокупность



двигательных сил, взаимно возбуждающих друг друга, так что невозможно установить, с какого места человеческого круга начинается свою деятельность природа. Если эти силы и отличаются чем-нибудь между собой, то только своим местонахождением и интенсивностью, но отнюдь не своей природой. Следовательно, душа является только движущим началом или чувствующей материальной частью мозга, которую, без опасности ошибиться, можно считать главным элементом всей нашей машины, оказывающим заметное влияние на все остальные и даже, по-видимому, образовавшимся раньше других. Таким образом, все остальные элементы являются только ее порождением, как это можно заключить из нескольких нижеследующих наблюдений, сделанных над различными зародышами.

Это естественное, или свойственное нашей машине, и подобное маятнику колебание, которым наделено каждое наше волокно и, так сказать, каждый наш волокнистый элемент, не может происходить беспрерывно. Его надо возобновлять, по мере того как оно замирает, придавать ему новую силу, когда оно ослабевает, делать более слабым, когда оно страдает от избытка силы и мощи. В этом-то и состоит истинная медицина.

Тело можно уподобить часам, которые заводятся новым хилусом. Первая забота природы, как только хилус поступает в нашу кровь, — это породить там нечто вроде лихорадки, которую химики, видящие во всем горение, должны принимать за брожение. Эта лихорадка вызывает усиленную фильтрацию животных духов, которая механически оживляет мускулы и сердце, как если бы все это делалось по предписанию воли.

Итак, вот те причины или силы жизни, которые поддерживают таким способом в течение ста лет постоянное движение твердых и жидких частей, столь же необходимое как для первых, так и для вторых. И кто может сказать, что в этом движении на долю твердых частей приходится более важная роль, чем на долю жидких, *et vice versa*? Все, что можно сказать, — это то, что действие первых без содействия вторых скоро бы прекратилось. Жидкости своим толчком пробуждают и сохраняют эластичность сосудов, от которой зависит их собственное движение. Отсюда вытекает, что после смерти естественная пружина каждой отдельной субстанции сохраняет еще в большей или меньшей степени свою силу, в зависимости от остатков жизни, которые она еще сохраняет в себе, прежде чем окончательно угаснуть. Это так же верно, как и то, что эта

сила животных частей может сохраняться и увеличиваться вследствие кровообращения, но она вовсе не зависит от него, как мы это уже видели, так как для нее не имеет значения поврежденность каждого отдельного члена или внутреннего органа.

Я знаю, что это мое мнение не разделяется многими учеными и что в особенности Шталь решительно возражает против него. Этот великий химик хотел нас убедить в том, что душа является единственной причиной всех наших движений. Но говорить так пристало скорее фанатику, чем философу.

Для того чтобы опровергнуть гипотезу Шталя, вовсе не нужно столько усилий, сколько было затрачено до меня. Достаточно только бросить взгляд на любого скрипача. Что за гибкость и ловкость пальцев! Движения столь быстры, что в них почти нельзя усмотреть последовательности! Но я попрошу или даже потребую у приверженцев Шталя, так хорошо знающих все способности нашей души, сказать мне, каким образом можно допустить, чтобы она так быстро выполняла столько движений, происходящих так далеко от нее и в столь различных местах. Гипотеза Шталя равносильна предположению, что какой-нибудь флейтист мог бы издавать чудные звуки, нажимая на бесконечное количество неизвестных ему клапанов, к которым он не в состоянии был бы даже притронуться пальцами.

Но мы не можем сказать вместе с Гекке, что не всякому позволено идти в Коринф<sup>32</sup>. И почему природа не могла бы облагодетельствовать Шталя как человека еще в большей степени, чем как химика и практика-врача? Для этого надо было бы, чтобы он (счастливый смертный!) получил иную душу, чем остальные люди, душу суверенную, которая, не удовлетворяясь тем, что имеет некоторую власть над произвольно действующими мускулами, без труда держала бы в руках бразды правления над всеми движениями тела, могла бы их прекращать, умерять или вызывать по своему усмотрению. При столь деспотической госпоже, в руках которой, можно сказать, находились бы все биения сердца и законы кровообращения, нельзя уже, без сомнения, испытывать лихорадку, страдания, скуку, постыдное половое бессилие и докучливый приапизм. Стоит только душе захотеть — и пружины начинают приходить в движение, то напрягаясь, то ослабевая. Каким же образом пружины машины Шталя так скоро пришли в негодность? Тот, кто в себе самом имеет столь великого врача, должен был бы быть бессмертным.

Впрочем, не один только Шталь отвергал причину произвольных движений в организованных телах. Самые крупные умы отбрасывали эту причину при объяснении деятельности сердца, эрекции мужского члена и т. д. Достаточно только прочесть «Основы медицины» Бургава, чтобы увидеть, какие замысловатые и соблазнительные системы пришлось измышлять этому великому человеку, чтобы обосновать свое отрицание этой столь очевидной силы, присущей всем телам.

Уиллис и Перро, умы более слабого калибра, но прилежные наблюдатели природы, которую знаменитый лейденский профессор знал только через посредство других, т. е. из вторых рук, по-видимому, предпочитали причине, о которой мы говорим, предположение, что душа вообще распространена по всему телу.

Но по этой гипотезе, которую разделяли Вергилий и все эпикурейцы и которую на первый взгляд подтверждает история полипов, движения, происходящие после смерти субъекта, которому они присущи, происходят от «остатка души», который сохраняется еще в сокращающихся частицах тела, не возбуждаемых уже более кровью и животными духами. Из этого можно видеть, что эти авторы, серьезные произведения которых могут, разумеется, затмить все философские басни, совершают ту же ошибку, в которую впали те, кто признает за материей способность мыслить. Я хочу сказать, что тут дело просто в неясных и запутанных, не имеющих смысла выражениях. В самом деле, что такое этот «остаток души», как не движущая сила лейбнизианцев, плохо определенная этим новым выражением и которую, между прочим, правильно предугадывал Перро (см. его «Трактат о механизме животных»).

В настоящее время, когда ясно доказано, что вопреки всем картезианцам, последователям Шталя и Мальбранша, и теологам, не достойным даже упоминания, материя движется сама собой не только тогда, когда она организована, пример чего мы видим в живом сердце, но даже и тогда, когда эта организация уничтожена, пытливый ум человека стремится узнать, каким образом тело только потому, что с самого своего появления на свет оно наделено дыханием жизни, получает впоследствии способность чувствовать и наконец мыслить. И, боже, сколько усилий было затрачено некоторыми философами для достижения этой цели и сколько галиматьи я имел терпение прочитать на эту тему!

Опыт доказывает нам только то, что, пока движение существует, как бы незначительно оно ни было, в одном или нескольких волокнах, достаточно только уколоть их, чтобы возбудить снова и оживить почти угасшее движение, как это мы видели во множестве опытов, которыми я хотел подорвать все эти системы. Итак, можно считать установленным, что движение и чувство взаимно возбуждают друг друга как в целых телах, так даже и в телах, строение которых разрушено, не говоря уже о некоторых растениях, у которых обнаруживается, по-видимому, такая же связь между чувством и движением.

Более того. Сколько выдающихся философов доказали, что мысль представляет собой только способность чувствовать и что мыслящая душа есть не что иное, как чувствующая душа, устремленная на созерцание идей и на рассуждение. Это можно доказать тем, что, когда угасает чувство, вместе с ним угасает также и мысль, как это бывает в состоянии апopleksii, летаргии, каталепсии и т. д. Ибо нелепо утверждать, что душа продолжает мыслить и при болезнях, сопряженных с бессознательным состоянием, и что она только не в состоянии вспомнить эти свои идеи, которыми она обладала.

Было бы напрасной тратой времени доискиваться сущности механизма движения. Природа движения нам столь же неизвестна, как и природа материи. Единственное средство открыть, как оно в ней происходит, — это воскресить вместе с автором «Истории души»<sup>33</sup> древнюю и невразумительную теорию о *субстанциальных формах*. Но я не более огорчаюсь своему незнанию того, каким образом инертная и первичная материя становится активной и наделенной органами, чем тому, что не могу смотреть на солнце без помощи цветного стекла. Столь же спокойно я отношусь и к другим непонятным чудесам природы, например к появлению чувства и мысли у существа, которое раньше нашему ограниченному зрению представлялось в виде комочка грязи.

Пусть только признают вместе со мной, что организованная материя наделена началом движения, которое одно только и отличает ее от неорганизованной<sup>34</sup> (а разве можно опровергнуть это бесспорное наблюдение?), и что все различия животных, как это я уже достаточно доказал, зависят от разнообразия их организации, — и этого будет достаточно для разрешения загадки различных субстанций и человека. Очевидно, во Вселенной существует всего одна только субстанция и человек является самым совершенным

ее проявлением. Он относится к обезьяне и к другим умственно развитым животным, как планетные часы Гюйгенса к часам императора Юлиана<sup>35</sup>. Если для отметки движения планет понадобилось больше инструментов, колес и пружин, чем для отметки или указания времени на часах, если Вокансону потребовалось больше искусства для создания своего «флейтиста», чем для своей «утки», то его потребовалось бы еще больше для создания «говорящей машины»<sup>36</sup>; теперь уже нельзя более считать эту идею невыполнимой, в особенности для рук какого-нибудь нового Прометея. В силу той же причины природе понадобилось больше искусства и техники для создания и поддержания машины, которая в течение всего своего века способна отмечать все биение сердца и ума, так как, если пульс и не определяет с точностью часов, он во всяком случае является барометром для измерения теплоты и живости тела, по которым можно судить о природе души. Я не ошибусь, утверждая, что человеческое тело представляет собой часовой механизм, но огромных размеров и построенный с таким искусством и изощренностью, что если остановится колесо, при помощи которого в нем отмечаются секунды, то колесо, обозначающее минуты, будет продолжать вращаться и идти как ни в чем не бывало, а также, что колесо, обозначающее четверти часа, и другие колеса будут продолжать двигаться, когда в свою очередь остальные колеса, будучи в силу какой бы то ни было причины повреждены или засорены, прервут свое движение. Таким же точно образом засорения нескольких сосудов недостаточно для того, чтобы уничтожить или прекратить действие рычага всех движений, находящегося в сердце, которое является рабочей частью человеческой машины; напротив, жидкость, объем которой уменьшился вследствие сокращения своего пути, пробегает его тем быстрее, уносимая как бы новым течением, и сердечная деятельность увеличивается благодаря сопротивлению, которое оно встречает в оконечностях сосудов. Если зрительный нерв, будучи сдавлен, перестает пропускать отражение предметов, то потеря зрения несколько не мешает действию слуха, и, наоборот, потеря этого последнего чувства при прекращении функций ушной мочки не вызывает потери зрения. То же самое происходит и тогда, когда один человек понимает то, что говорят, не будучи в состоянии сам говорить (если это происходит не непосредственно после удара), тогда как другой, который ничего не понимает, но у которого язычные нервы в мозгу свободно действуют, машинально

говорит всякий вздор, приходящий ему в голову. Все эти явления нисколько не поражают образованных врачей. Они знают, что им предпринимать, имея дело с природой человека; скажу мимоходом, что из двух врачей лучшим и заслуживающим наибольшего доверия всегда будет, по моему мнению, тот, кто больше опирается на физику или механику человеческого тела и, предоставляя невеждам вопрос о душе и беспокойство, вызываемое этой химерой, серьезно занимается только чистым естествознанием.

Итак, предоставим мнимому господину Черпу<sup>37</sup> посмеиваться над философами, считающими животных машинами. Я же смотрю на этот вопрос иначе. Я полагаю, что Декарт был бы человеком, достойным уважения со всех точек зрения, если бы он не жил в век, который ему приходилось просвещать; тогда он познал бы ценность опыта и наблюдения и опасность удаления от них. И тем не менее, я поступлю совершенно справедливо, если противопоставлю этого великого человека всем этим мелким философам и плохим подражателям Локка, которые вместо того, чтобы бесстыдно смеяться над Декартом, лучше постарались бы понять, что без него поле философии, как поле точной науки без Ньютона, может быть, до сих пор осталось бы необработанным.

Конечно, никто не будет оспаривать, что этот знаменитый философ во многом ошибался. Но зато он понимал характер физической природы живых существ; он первый блестяще доказал, что животные являются простыми машинами. И после столь важного открытия, предполагающего столько прозорливости, было бы чистой неблагодарностью не отнестись снисходительно к его заблуждениям!

Все эти заблуждения в моих глазах вполне искупаются этим великим открытием. Ибо в самом деле, сколько бы он ни разглагольствовал о различии двух субстанций, совершенно ясно, что это был для него только ловкий прием, стилистическая хитрость, чтобы заставить богословов проглотить яд, скрытый под формой аналогии, которая поражает всех и которую не видят только они одни. Ведь эта бросающаяся в глаза аналогия заставляет ученых и настоящих знатоков признать, что гордые и тщеславные существа, гораздо более отличающиеся от животных своей спесью, чем именов людей, сколько бы они ни претендовали на то, чтобы быть выше животных, в сущности являются животными и ползающими в вертикальном положении машинами. Эти машины отличаются тем замечательным инстинктом, из которого посредством воспитания образу-

ется ум, всегда находящийся в мозговой ткани или — при отсутствии или недостаточном развитии и окостенении последней — в продолговатом мозгу, но никогда не в мозжечке; ибо я наблюдал случаи значительного повреждения последнего, а другие \* — случаи опухоли на нем, а между тем душа при этом не переставала выполнять свои функции.

Быть машиной, чувствовать, мыслить, уметь отличать добро от зла так же, как голубое от желтого, словом, родиться с разумом и устойчивым моральным инстинктом и быть только животным, — в этом заключается не больше противоречия, чем в том, что можно быть обезьяной или попугаем и уметь предаваться наслаждениям. Кстати, кто бы мог а priori предположить, что капля жидкости, выпускаемая при совокуплении, вызывает божественное наслаждение и что из нее рождается маленькое создание, которое в будущем при определенных условиях будет испытывать подобные же наслаждения. Я считаю мысль столь мало противоречащей понятию организованной материи, что она мне представляется основным ее свойством, подобным электричеству, способности к движению, непроницаемости, протяженности и т. п.

Нужно ли приводить новые факты, основанные на наблюдении? Вот еще несколько фактов, на которые ничего нельзя возразить и которые равно доказывают, что человек вполне походит на животных как по своему происхождению, так и по всему тому, что мы сочли существенным при их сравнении.

Я апеллирую к добросовестности наших исследователей. Пусть они скажут нам: разве не верно, что человек, в сущности, вначале червяк, становящийся затем человеком, подобно тому как гусеница становится бабочкой? Весьма серьезные авторы \*\* научили нас способу видеть это микроскопическое животное (*animalcule*). Все любознательные люди находили его вслед за Гартсукером в мужском, а не в женском семени; только дураки могут стесняться делать это. Хотя каждая капля семени содержит в себе бесконечное количество этих червячков, ввергаемых в яичник, но только более проворному и сильному из них удастся проникнуть и укрепиться в женском яйце, дающем ему первоначальное питание. Это яйцо иногда находили в фаллопиевых трубах, через которые оно входит в матку,

---

\* Галлер в *Transact. Philosoph.*<sup>36</sup>.

\*\* *Бургава*. Основы медицины и др. соч.

где пускает корни, подобно хлебному зерну в земле. Но хотя яйцо принимает там огромные размеры благодаря своему росту в течение девяти месяцев, оно ничем не отличается от яиц других самок, если не считать водной оболочки (amnios), никогда не отвердевающей и растягивающейся до огромных размеров, как об этом можно судить, сравнивая человеческий плод, находящийся в состоянии, близком к появлению на свет (что я имел возможность наблюдать у женщины, умершей за минуту до родов), с зародышами других животных. Во всех случаях мы имеем дело с яйцом в семенной оболочке и животным в яйце, где, стесненное в своих движениях, оно машинально стремится вырваться на свет. Для достижения этого оно своей головой начинает разрывать оболочку, из которой выходит в виде цыпленка, птенца и т. д. К этому я прибавлю еще одно наблюдение, которое я нигде не встречал, а именно что водная оболочка, растягиваясь, не становится более тонкой; она подобна в этом отношении матке, сама субстанция которой раздувается от просачивающихся в нее соков независимо от полнокровия и развития всех сосудов.

Посмотрим на человека в его семенной оболочке и вне ее; рассмотрим при помощи микроскопа самые молодые — 4-, 6-, 8- или 15-дневные зародыши: после этого времени их можно видеть невооруженным глазом. Что же мы увидим? Одну только голову — небольшое круглое яйцо с двумя черными точками, обозначающими глаза. До этого времени, когда все в нем еще не оформлено, видна только студенистая масса, представляющая собой мозг, в котором раньше всего образуются начатки нервов, т. е. основа чувств, и сердце, которое уже в этой студенистой массе обладает способностью самопроизвольно биться; это — «*ruptum saliens*»<sup>39</sup>, которая, по выражению Мальпиги, быть может, своей подвижностью отчасти обязана влиянию нервов. Потом мало-помалу становится видно, как от головы отделяется шея, которая, растягиваясь, образует сперва грудную полость, куда уже спустилось сердце, чтобы обосноваться там. После этого образуется нижняя часть живота, отделяющаяся перегородкой (диафрагмой). Растягивание плода вызывает, с одной стороны, образование рук, пальцев, ногтей и волос, с другой — бедер, ног; различное положение тех и других указывает на то, что первые нужны для опоры, а вторые для поддержания тела в равновесии. Этот рост изумительно аналогичен прорастанию растений: здесь волосы покрывают верхушку наших голов, там — листья и цветы; и там и здесь в равном великолепии



и блеске видна природа; наконец, *spiritus rector* <sup>40</sup> помещается в том месте, где помещена наша душа, эта вторая квинтэссенция человека.

Таково единообразие природы, которое начинают теперь уже понимать, и такова аналогия животного и растительного царства, человека и растения. Возможно даже, что существуют растения-животные, т. е. такие организмы, которые, прозябая, обладают способностью к борьбе, подобно полипам, или выполняют другие функции, свойственные животным.

Вот почти все, что можно сказать о размножении. Нет ничего невозможного в том, что части, которые взаимно притягиваются и созданы для того, чтобы соединиться и занимать то или иное место, соединяются согласно своей природе и что таким путем образуются глаза, сердце, желудок и наконец все тело, как писали об этом великие ученые. Но так как относительно всех этих подробностей опыт не дает нам никаких указаний, я не стану делать никаких предположений, считая все, что недоступно моим чувствам, как бы непроницаемой тайной.

Мужское и женское семя настолько редко встречаются при совокуплении, что я считаю возможным допустить, что семя женщины вовсе не необходимо для зарождения.

Но как можно объяснить это явление без признания соответствия частей тела, которое дает вполне удовлетворительное объяснение сходству детей то с отцом, то с матерью? С другой стороны, объяснение не может иметь большего значения, чем самый факт. По-видимому, при зарождении активную роль играет только мужчина, и безразлично, спит ли при этом женщина или испытывает сильнейшую страсть. Очевидно, расположение частей тела устанавливается заранее в зародыше или даже в семенном живчике мужчины. Но все это выходит за рамки наблюдений самых выдающихся исследователей. Не воспринимая этого своими чувствами, они могут судить о механике образования и развития тел столько же, сколько крот может судить о расстоянии, какое может пробежать олень.

В области природы мы — настоящие кроты. Мы двигаемся вперед точь-в-точь как это животное. Только наше высокомерие может стремиться ставить пределы тому, что их не имеет. Мы оказываемся в положении часов, которые могли бы сказать (вот хорошая тема для баснописца!): «Как, нас сделал глупый рабочий, нас, делящих на части время, точно отмечающих движение солнца и громко повторяющих указываемое нами время? Нет, этого быть не

может!» Совершенно так же и мы, неблагодарные, отвергаем общую мать всех царств, по выражению химиков. Мы воображаем или, скорее, предполагаем существование причины более высокой, чем та, которой мы всем обязаны и которая действительно создала все непонятным для нас образом. Нет, в материи неизменное существует только для грубых глаз, не познающих ее в самых блестящих ее творениях, и природу вовсе нельзя уподобить ограниченному рабочему. Она производит миллионы людей с гораздо большей легкостью и большей радостью, чем часовщик — самые сложные часы. Ее могущество одинаково проявляется в создании как самого ничтожного насекомого, так и самого гордого человека; живое царство стоит ей не большего труда, чем растительное, и самый великий гений — не более хлебного колоса. Итак, будем судить на основании того, что мы видим, о том, что скрыто от наших любопытных глаз и наших исследований, и не будем ничего воображать сверх этого. Последим за действиями обезьяны, бобра, слона и т. д. Ведь ясно, что они не могут обходиться без ума; так почему отказать в нем этим животным? Если же вы припишете им душу, о фанатики, то вы пропали: утверждайте сколько вам угодно, что вы ничего не решаете о ее природе, отказывая ей в бессмертии, — всякий поймет, что это пустые уверения с вашей стороны, ибо душа животных должна быть или смертной, или бессмертной, как и наша душа, с которой у нее одинаковая судьба, какова бы она ни была. Это значит попасть к Сцилле, желая избежать Харибды <sup>41</sup>.

Разбейте же цепь тяготеющих над вами предрассудков; вооружитесь факелом опыта, и вы окажете природе заслуженную ею честь, вместо того чтобы делать неблагоприятные для нее выводы на основании неведения, в котором она вас оставила. Откройте только глаза и оставьте в стороне все, что вы не можете понять, и вы увидите тогда, что пахарь, ум и знания которого не выходят за пределы его борозды, в существенном ничем не отличается от самого великого гения, как это можно было бы доказать вскрытием мозга Декарта и Ньютона. Вы убедитесь тогда в том, что сумасшедший или глупец представляют собой животных в человеческом облике, тогда как обладающая умом обезьяна есть маленький человек в несколько измененном виде; в том, что, раз в конечном счете все зависит от различия в строении тела, хорошо организованное животное, будучи обучено астрономии, сможет предсказать затмение, а равно выздоровление или смерть,

если оно в течение некоторого времени будет обучаться этому в школе Гиппократов или у постелей больных. Вследствие ряда таких наблюдений и истин мы можем приписывать материи удивительное свойство мышления, не будучи в состоянии установить связь между мышлением и материей, так как природа мышления, в сущности, остается для нас неизвестной.

Мы не будем утверждать, что всякая машина, или всякое животное, после смерти совершенно погибает или принимает другую форму, так как мы ничего решительно не знаем об этом. Но утверждение, что бессмертная машина представляет собою химеру или *измышление разума*, было бы столь же нелепо, как если бы гусеница при виде бранных останков своих сестер стала бы горько оплакивать участь своего вида, который будто бы обречен на уничтожение. Душа этих животных — ведь всякое животное имеет свою душу — слишком ограничена для понимания метаморфоз природы. Никогда самая даровитая из гусениц не может себе вообразить, что ей предстоит стать бабочкой. То же самое можно сказать и о нас. Можем ли мы знать о нашей судьбе больше, чем о нашем происхождении? Поэтому покоримся неизбежному неведению, от которого зависит наше счастье.

Тот, кто будет думать таким образом, будет мудрым, справедливым человеком, спокойным за свою участь и, следовательно, счастливым. Он будет ожидать смерти, не боясь, но и не желая ее, дорожа жизнью и с трудом понимая, каким образом пресыщение может разбить сердце в этом полном наслаждений мире, уважая природу и испытывая к ней благодарность, привязанность и нежность за все чувства и блага, полученные нами от нее. Счастливый от ощущения и созерцания великолепия Вселенной, такой человек никогда не станет уничтожать жизнь ни в себе, ни в других. Более того, преисполненный гуманных чувств, он будет любить ее свойства даже в своих врагах. Легко представить себе, как такой человек будет поступать по отношению к другим. Он будет жалеть порочных, а не ненавидеть их: в его глазах они будут просто изуродованными людьми. Но, снисходительно относясь к недостаткам устройства ума и тела, он тем более сумеет восхищаться их красотой и добродетелями. Те, кому природа покровительствует, будут казаться ему заслуживающими большего уважения, чем те, с кем она обходится как мачеха. Итак, мы видим, что дары природы — источник всего того, что может нас обогатить, — встречаются на устах

и в сердце материалиста уважение, в котором все другие им несправедливо отказывают. Наконец, материалист, убежденный вопреки собственному тщеславию в том, что он просто машина или животное, не будет плохо относиться к себе подобным: он слишком хорошо знает природу их поступков, бесчеловечность которых всегда отражает степень рассмотренной выше аналогии между людьми и животными; следуя естественному закону, свойственному всем животным, он не пожелает делать другим то, чего он не хочет, чтобы делали ему.

Итак, мы должны сделать смелый вывод, что человек является машиной и что во всей Вселенной существует только одна субстанция, различным образом видоизменяющаяся. И это вовсе не гипотеза, основанная на предубеждениях и предположениях, не продукт предрассудка или одного только моего разума. Я бы отверг подобного руководителя, которого считаю мало надежным, если бы мои чувства, вооруженные, так сказать, факелом истины, не побудили меня следовать за разумом, освещая ему путь. Но опыт высказался в пользу моего разума, и я соединяю их воедино.

Вы могли убедиться в том, что я делаю самые решительные и логические выводы только в результате множества физических наблюдений, которых не будет оспаривать ни один ученый: только за ученым я признаю право на суждение о тех выводах, которые я делаю из этих наблюдений, отвергая свидетельство всякого человека с предрассудками, не знающего ни анатомии, ни той единственной философии, которая в данном случае имеет значение, а именно философии человеческого тела. Какое значение могут иметь против столь прочного и крепкого дуба слабые тростники богословия, метафизики и различных философских школ? Это — детские игрушки, подобные рапирам наших гимнастических залов, с помощью которых можно доставить себе удовольствие потренироваться, но ни в каком случае не одолеть противника. Надо ли прибавлять, что я имею здесь в виду пустые и пошлые идеи, избитые и жалкие доводы, которые будут приводить относительно мнимой несовместимости двух субстанций, беспрестанно соприкасающихся и воздействующих друг на друга, — идеи, которые будут существовать, пока на Земле останется хотя бы тень предрассудка или суеверия? Такова моя система или, вернее, если я не заблуждаюсь, истина. Она проста и кратка. Кто хочет, пусть попробует оспаривать ее!